ГЛАВНАЯ КИНОПРЕМЬЕРА 2019

ДЖАКОМО КАЗАНОВА

МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

ФИЛОСОФИЯ ИСКУШЕНИЯ

Джованни Казанова

Моя последняя любовь. Философия искушения

«Алисторус»

УДК 82-94
ББК 83.3(0)5

Казанова Д. Д.

Моя последняя любовь. Философия искушения /
Д. Д. Казанова — «Алисторус»,

ISBN 978-5-907211-06-3

Великий венецианский авантюрист и соблазнитель Джакомо Казанова (1725–1798) – один из интереснейших людей своей эпохи. Любовь была для него жизненной потребностью. Но на страницах «Истории моей жизни» Казанова предстает не только как пламенный любовник, преодолевающий любые препятствия на пути к своей цели, но и как тонкий и умный наблюдатель, с поразительной точностью рисующий портреты великих людей, а также быт и нравы своего времени.Книга приурочена выходу на экран фильма «Последняя любовь Казановы».

УДК 82-94
ББК 83.3(0)5

ISBN 978-5-907211-06-3

© Казанова Д. Д.
© Алисторус

Содержание

О моем друге 5
Любовные приключения Джиакомо Казановы, кавалера де Сенгальта, венецианца, описанные им самим 7
Предисловие автора 7
Очерк моей жизни 9
Мои предки и моя семья 11
Годы детства в Падуе 13
Венеция 22
Из Неаполя в Рим 28
Я попадаю под арест 33
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Джакомо Казанова
Моя последняя любовь. Философия искушения

«Он горд, ибо он ничто и не имеет ничего…»
Шарль де Линь о Казанове

О моем друге

Он был бы красив, когда бы не был уродлив: высок, сложен, как Геркулес, лицо смуглое; в живых глазах, полных ума, всегда сквозит обида, тревога или злость, и оттого то он кажется свирепым. Его проще разгневать, чем развеселить, он редко смеется, но любит смешить; его речи занимательны и забавны, в них есть что то от паяца Арлекина и от Фигаро; он ничего не смыслит лишь в том, в чем почитает себя знатоком, – в танцах, французском языке, правилах хорошего тона, знании света.

Одни комедии его не смешны, одни философские сочинения поверхностны – все прочие язвительны, оригинальны, остры и глубоки. Он кладезь премудрости, но до отвращения часто цитирует Горация. У его шуток привкус аттической соли. Он чувствителен и отзывчив, но стоит его хоть чем-нибудь обидеть, как он становится злым, сварливым, несносным – даже за миллион не согласится забыть задевшую его невинную шутку.

Его писания напоминают старинные предисловия – многоречивые и тяжеловесные, но когда ему есть что рассказать – к примеру, свои приключения, – он делается столь оригинальным и естественным, так оживляет действие, почти превращая его в пьесу, что им нельзя не восхищаться; сам того не ведая, он превзошел автора «Жиль Бласа»[1] и «Хромого беса»[2]. Он верит лишь в чудеса и до крайности суеверен; по счастью, человек он честный и деликатный, а то мог бы натворить дел, объявив: «Я дал обет» или: «Такова воля Господня».

Все ему любо, все желанно; он все изведал и умеет безо всего обойтись. Женщины, в особенности юные девицы, волнуют его воображение, но – уже не более того. Его это бесит, заставляет проклинать прекрасный пол, себя, небеса, естество и 1742 год; он находит отмщение, уничтожая яства и вина: исчез бог парков и сатир лесов, остался хищник застолий. Он ничего не щадит, приступает к трапезе с весельем, а оканчивает ее с грустью, печалясь, что не может начать с начала.

Если он и дурачил изредка простаков, выманивал деньги у мужчин и женщин, то делал это, дабы составить счастье близких ему людей. В беспутствах бурной юности, весьма сомнительных похождениях выказал он себя человеком порядочным, утонченным и отважным. Он горд, ибо он ничто и не имеет ничего: будь он рантье, финансист или вельможа, то, верно, держался бы проще. Ему нельзя противоречить, а уж тем более смеяться над ним; его надобно читать или слушать, но самолюбие его всегда начеку: никогда не признавайтесь, что вам известна история, которую он собирается поведать, внимайте ей, как в первый раз. Не забывайте вежливо раскланиваться с ним – пустяк обратит его во врага.

Богатая фантазия и природная живость, опыт многочисленных путешествий, испробованных профессий, твердость духа и презрение к житейским благам делают его человеком ред-

[1] «История Жиль Бласа из Сантильяны» – плутовской роман, написанный Аленом Рене Лесажем с 1715 по 1735 год. Роман считается последним шедевром плутовского жанра.

[2] «Хромой бес» – плутовской роман Луиса Велеса де Гевары, вышедший в свет в Мадриде в 1641 году

костным, интереснейшим для знакомства, достойным уважения и преданной дружбы небольшого числа лиц, снискавших его расположение.

Князь Шарль-Жозеф де Линь,
друг Казановы

Любовные приключения Джиакомо Казановы, кавалера де Сенгальта, венецианца, описанные им самим

Предисловие автора

Я хочу предупредить читателя, что все, происшедшее со мной в течение жизни, – хорошее или плохое – без сомнения, заслужено, и поэтому я могу считать себя человеком свободным.

В этих мемуарах читатель увидит, что я, никогда не стремясь к какой-либо определенной цели, если и следовал системе, то лишь такой, чтобы отдаваться на волю увлекавшего меня ветра. Сколь полна превратностями сия свобода! Мои радости и неудачи, испытанное добро и зло, все убедило меня, что в нашем мире, как духовном, так и материальном, из зла всегда следует добро и наоборот. Внимательный читатель поймет по моим заблуждениям, какие пути не следует выбирать, и постигнет великое искусство крепко держаться в седле. Нужна лишь смелость, ибо сила без уверенности бесполезна. Нередко судьба улыбалась мне после неосторожного поступка, который мог бы низвергнуть меня в пропасть. И, напротив, умеренное и продиктованное благоразумием поведение часто приводило к несчастным последствиям.

Вас позабавит, когда вы узнаете, сколь часто я не останавливался перед тем, чтобы обманывать легковерных, жуликов и дураков, если мне это было необходимо. А в отношении женщин обман всегда взаимный и не идет в счет. Другое дело – дураки. Я с удовольствием вспоминаю, как они попадались ко мне в сети. Их наглость и высокомерие оскорбляют здравый рассудок, и когда обманывают дурака, разум оказывается отмщенным. Поэтому я полагаю, что обманувший дурака заслуживает лишь похвалы. Я далек от того, чтобы смешивать дураков с людьми, которых называют простаками. Они такие по недостатку образования, и я не желаю им зла. Многие из них отличаются безупречной честностью и прямодушием. Можно сказать, что это глаза, затянутые катарактой, которые без нее были бы прекрасны.

В 1797 году, семидесяти двух лет, когда я могу уже сказать «прожил», хотя и продолжаю еще существовать, мне было бы затруднительно придумать более приятное развлечение, чем занять себя своими собственными делами.

Вспоминая о прошлых радостях, я повторяю их и переживаю во второй раз. А неприятности и несчастья вызывают у меня лишь улыбку – их я уже не чувствую.

Мне были свойственны все темпераменты последовательно: слезливый – в младенчестве, сангвинический – в молодости, потом – раздражительный и, наконец, меланхолический, с которым, возможно, я и останусь. Всегда согласовывал я пищу со своей конституцией и поэтому пользовался отменным здоровьем. Рано познав, что на него больше всего влияют излишества, как в еде, так и в воздержании, стал я своим собственным лекарем. Здесь уместно заметить, что излишества в воздержании много страшнее излишеств в неумеренности, потому что последние дают несварение, а первые – смерть.

Теперь я старик и, несмотря на крепость моего желудка, вынужден есть один раз в день. Но в этом меня вознаграждают легкость пера и сладкий сон.

Сангвинический темперамент сделал меня весьма подверженным чарам сладострастия. Я всегда был расположен менять одно наслаждение на другое и отличался в этом отменной изобретательностью. Отсюда, несомненно, происходила и моя склонность завязывать новые знакомства, и величайшая легкость, с которой я порывал их, всегда, однако, понимая причину этого и никогда не руководствуясь здесь чистым легкомыслием.

Чувственные наслаждения постоянно были моим главным и самым важным занятием. Я не сомневался, что создан для прекрасного пола, всегда любил оный и старался, по мере возможного, заставить полюбить и себя. Кроме того, я обожал хороший стол и со страстью интересовался всем, что возбуждало мое любопытство.

Я имел друзей, делавших мне добро, и пользовался любой возможностью доказать им мою благодарность. Но были и отвратительные враги, преследовавшие меня, их я не уничтожил только потому, что это оставалось вне моих сил. Я никогда бы не простил им, если бы не забвение всего испытанного зла. Человек, забывающий обиды, на самом деле не прощает. Он просто не помнит их. Потому что прощение есть чувство героическое, свойственное благородному сердцу и великодушному уму, а забвение происходит от слабости памяти или беззаботности спокойной души, и нередко лишь от желания покоя.

Я счел бы себя виновным, если бы обладал сегодня состоянием. Но у меня нет ничего, я все истратил, это утешает и оправдывает меня.

Если покажется иногда, что я слишком подробно описываю некоторые любовные сцены, не следует вменять мне это в вину, кроме тех случаев, когда перо мое недостаточно искусно. Ведь у моей старой души нет других наслаждений, как радоваться одним только воспоминаниям.

Очерк моей жизни

Матушка произвела меня на свет в Венеции, апреля 2 числа, на Пасху 1725 года. Накануне донельзя захотелось ей раков. Я до них большой охотник.

Окрестив, дали мне имя Джакомо Джироламо. До восьми лет с половиною был я слаб умом. После случилось у меня трехмесячное кровотечение, и я излечился; тогда отослали меня в Падую, и я, предавшись наукам, шестнадцати лет возведен был в доктора, облачен в одежды священника и отправлен искать счастья в Рим.

В Риме покровитель мой, кардинал Аквавива, дал мне отставку; причиной тому стала дочь моего учителя французского языка.

Восемнадцати лет вступил я, дабы принести пользу отечеству, в военную службу и отправился в Константинополь. Возвратившись двумя годами позже в Венецию, оставил я бранное поприще и избрал сгоряча презренное ремесло скрипача; все друзья мои ужаснулись, но я недолго предавался этому занятию. В возрасте 21 года один из первых венецианских синьоров сделал меня приемным сыном, и я, сделавшись довольно богат, отправился путешествовать по Италии, Франции, Германии и Вене, где и свел знакомство с графом Роггендорфом. Я возвратился в Венецию, и двумя годами позже венецианские государственные инквизиторы, движимые побуждениями истинными и мудрыми, заключили меня в тюрьму Пьомби.

Это государственная тюрьма, из которой прежде никому еще не удавалось бежать; однако ж я, с помощью Божией, по прошествии года и трех месяцев бежал оттуда и направился в Париж.

Там дела мои пошли столь хорошо, что я в два года разбогател и стал обладателем целого миллиона, и все же разорился опять. В надежде поправить положение свое поехал я в Голландию, затем отправился попытать несчастья в Штутгарт, потом счастья – в Швейцарию, а оттуда к г-ну де Вольтеру; после были приключения в Марселе, Генуе, Флоренции и Риме, где папа Редзонико, венецианец, произвел меня в кавалеры ордена Св. Иоанна Латранского и в апостолические протонотарии. То было в 1760 году.

В тот же год случилась мне удача в Неаполе. Во Флоренции выкрал я одну девицу, а на следующий год отправился на Аугсбургский конгресс с поручением от короля Португальского. Конгресс не состоялся, и, когда подписан был мир, я направился в Англию, откуда в следующем, 1764, году принужден был уехать по причине великой беды. Я избегнул виселицы, каковая, впрочем, меня бы не обесчестила – я всего лишь был бы повешен. В тот же самый год напрасно искал я счастья в Берлине и в Петербурге, нашел же его лишь на другой год и в Варшаве. Спустя девять месяцев утратил я его вновь, для того что имел дуэль на пистолетах с генералом Браницким. Я продырявил ему живот, но он в три месяца поправился, и я тому рад. Он храбрый человек.

Принужденный покинуть Польшу, отправился я в 1767 году в Париж, откуда понудило меня съехать тайное повеление об аресте; я прибыл в Испанию, и там случились со мной великие несчастья. В конце 1768 года заключили меня в Барселоне в подземелье башни; оттуда вышел я полтора месяца спустя и был выслан из Испании. Проступок мой заключался в ночных визитах к любовнице вице-короля, негодяйке изрядной. На границе Испании избегнул я наемных убийц и отправился болеть в Экс-ан-Прованс, где почти трехнедельное кровохарканье едва не свело меня в могилу.

В году 1769-м выпустил я в свет в Швейцарии защиту правительства венецианского против Амело де ла Уссе, собственного сочинения и в трех томах. На другой год английский посланник при туринском дворе послал меня с отменными рекомендациями в Ливорно. Я хотел было плыть в Константинополь с русским флотом, но адмирал Орлов не согласился на условия мои, и я вновь пустился в путь, направившись в Рим, где был тогда папою Ганганелли.

Счастливая любовь заставила меня покинуть Рим и отправиться в Неаполь; несчастная же любовь принудила три месяца спустя возвратиться в Рим. Я в третий раз дрался на шпагах с графом Медини – тем, что четыре года назад умер в лондонской тюрьме, попав туда из-за долгов.

Денег у меня было много, и я отправился во Флоренцию, но на Рождество эрцгерцог Леопольд, что умер четыре или, пять лет назад императором, изгнал меня в трехдневный срок из своих владений. У меня была любовница, каковая, последовав моему совету, стала в Болонье маркизою де ***.

Утомившись кружить по Европе, решился я испросить помилования у венецианских государственных инквизиторов. В рассуждении этого обосновался я в Триесте, и через два года помилование получил. То было 14 сентября 1774 года. Въезд мой в Венецию по прошествии девятнадцати лет доставил мне наслаждение и стал прекраснейшей минутою моей жизни.

В 1782 году перессорился я со всем венецианским дворянством и в начале 1783 года, оставив добровольно неблагодарное отечество, отправился в Вену. Полугодом позже поехал я в Париж с намерением там обосноваться, однако ж брат мой, что жил в этом городе уже 26 лет, заставил меня позабыть собственные интересы и заняться его делами. Я избавил его от жениного ига и отвез в Вену, и принц Кауниц сумел уговорить его там остаться. В Вене он покуда и живет; он младше меня на два года.

Я вступил на службу к г-ну Фоскарини, венецианскому посланнику, и стал вести его переписку. Двумя годами позже скончался он у меня на руках от подагры, что вступила ему в грудь. Тогда решился я ехать в Берлин, рассчитывая на место в академии; однако ж на полдороге, в Теплице, задержал меня граф Вальдштейн и отвез в Дукс, где я пребываю поныне и где, должно быть, умру.

Это единственный очерк жизни моей, писанный мною; разрешаю использовать его по усмотрению вашему.

Non erubesco evangelium[3].

Джакомо Казанова
17 ноября 1797 года

[3] Не почитаю евангелием (лат.).

Мои предки и моя семья

Дон Якопо Казанова, рожденный в Сарагоссе, столице Арагона, был побочным сыном дона Франциско и в 1428 году похитил из монастыря донну Анну Палафокс, как раз на следующий день после принятия ею монашеского обета. Дон Якопо состоял секретарем короля дона Альфонсо. Он бежал с монахиней в Рим, где, после года тюрьмы, папа Мартин III освободил Анну от обета и, по ходатайству дона Хуана Казановы, дяди дона Якопо и распорядителя святейшего дворца, благословил их союз. Все дети от этого брака умерли в раннем возрасте, исключая дона Хуана, который в 1475 году взял себе в жены донну Элеонору Альбини, от которой имел одного сына по имени Марк-Антонио.

В 1481 году дон Хуан убил неаполитанского офицера и был принужден покинуть Рим, укрывшись в Комо с женой и сыном, но в поисках удачи уехал и оттуда. Он умер во время путешествия с Христофором Колумбом в 1493 году.

Что касается Марка-Антонио, то он сделался весьма приличным поэтом в духе Марциала и служил секретарем у кардинала Помпео Колонны. Из-за сатиры на Джулио Медичи он был вынужден оставить Рим и возвратиться в Комо, где женился на Абондии Реззонике.

Тот же Джулио Медичи, сделавшись папой под именем Климента VII, простил его и возвратил в Рим. В 1526 году город этот был взят и разграблен императорским войском, а Марк-Антонио умер от чумы.

Впрочем, не случись сей напасти, он все равно отправился бы на тот свет по причине разорения, так как солдаты Карла V забрали все принадлежавшее ему имущество.

Через три месяца после его смерти вдова произвела на свет Джакомо Казанову, который умер во Франции в глубокой старости полковником армии Фарнезе, сражавшегося против Генриха Наваррского, ставшего потом королем Франции. Он оставил в Парме сына, тот женился на Терезе Конти, у них родился Джакомо, взявший в 1680 году в жены Анну Роли. Джакомо имел двух сыновей, Джованни-Батисту и Гаэтано-Джузеппе-Джакомо. Старший выехал из Пармы в 1712 году и более не возвращался. Младший через три года также покинул свое семейство в возрасте восемнадцати лет.

Вот то, что я нашел в записях моего отца. Все остальное, о чем я собираюсь рассказать, мне стало известно от матери.

Гаэтано-Джузеппе-Джакомо покинул отчий дом, увлеченный прелестями некой актрисы по имени Фраголетта. Влюбленному нечем было жить, и он решился зарабатывать хлеб, используя собственные способности, для чего занялся танцами, а через пять лет уже играл в комедиях, отличаясь, впрочем, скорее своим благонравием, нежели талантом.

То ли вследствие непостоянства, то ли по причине ревности он оставил Фраголетту и поступил в труппу венецианских комедиантов, игравших в театре Св. Самюэля. Напротив дома, где он обитал, жил башмачник по имени Джеронимо Фаруси вместе со своей женой Марией и единственной дочерью Занеттой, необыкновенной красавицей шестнадцати лет. Молодой комедиант влюбился в девицу и сумел уговорить ее дать себя похитить. Это представлялось единственным средством, поскольку, будучи актером, он никогда бы не получил согласия Марии, не говоря уже о самом Джеронимо, ибо в их глазах ничто не могло быть хуже ремесла лицедея. Юные любовники, запасшись нужными бумагами и в сопровождении двух свидетелей, предстали перед венецианским патриархом, который и дал им брачное благословение. Мать Занетты была безутешна, а отец умер с горя.

От этого союза я и родился через девять месяцев, а именно 2 апреля 1725 года. В следующем году матушка оставила меня на руках бабки – та простила ее, узнав, что муж обещал никогда не принуждать Занетту идти на подмостки. Комедианты всегда дают подобные обещания городским девушкам, на которых женятся, и никогда не держат свое слово, поскольку сами

жены того и не требуют. А матери моей изрядно посчастливилось научиться играть в комедиях, ибо в противном случае у нее не было бы средств воспитывать шестерых своих детей, когда через девять лет она оказалась вдовой.

Итак, мне был год, когда отец оставил меня в Венеции и отправился на лондонские подмостки. Именно в этом великом городе мать моя впервые вышла на сцену, и там же в 1727 году она разрешилась от бремени моим братом Франческо, ныне знаменитым живописцем баталий, который с 1783 года живет в Вене.

К концу 1728 года матушка возвратилась с отцом в Венецию, а поскольку сделалась к тому времени комедианткой, то и продолжала заниматься своим ремеслом.

Еще через два года она произвела на свет моего брата Джованни, скончавшегося в Дрездене, будучи уже директором Академии живописи. За три последующих года она сделалась матерью двух дочерей, одна из которых умерла в раннем возрасте, а другая вышла замуж в Дрездене, где и жила еще в 1798 году. У меня был и третий брат, родившийся после смерти отца; он скончался пятнадцать лет назад в Риме.

Отец мой покинул этот мир в расцвете жизни. Хотя ему было всего тридцать шесть лет, он сошел в могилу, сопровождаемый сожалением общества: все ценили его выше занимаемого им положения по причине образцовой нравственности и глубочайших познаний в механике.

Годы детства в Падуе

В сие печальное время мать моя была на шестом месяце, а потому не могла появляться на подмостках до конца пасхальных праздников. Несмотря на свою молодость и красоту, она отказывала всем, кто искал ее руки, и, поручив себя Провидению, надеялась воспитать нас собственными средствами.

Прежде всего она посчитала необходимым заняться мною, и отнюдь не по особому расположению, а вследствие моей болезни, из-за которой никак не могли понять, что со мной делать. Я был очень слаб, совершенно лишен аппетита, ничем не умел занять себя и с виду казался почти слабоумным. Врачи не могли договориться между собой о причине моего недуга. Каждую неделю, говорили они, он теряет два фунта крови из имеющихся шестнадцати или восемнадцати. Откуда же берется столь обильное кровотечение?

Синьор Баффо, большой приятель моего покойного отца, обратился к знаменитому падуанскому врачу Макопу, который прислал ему свой диагноз в письменном виде. В этом документе, сохраняющемся у меня до сего времени, говорится, что кровь человека есть эластическая жидкость, способная увеличивать и уменьшать свою густоту, и мое кровотечение происходит по причине именно чрезмерной густоты. Он заключал, что это может быть порождено лишь вдыхаемым мною воздухом, а посему следует или увезти меня, или готовиться к вечной разлуке. Согласно его мнению, выражение тупости на моем лице также объясняется густотой крови.

По получении сего оракула аббат Гримани взялся найти для меня в Падуе подходящий пансион, обратившись к помощи одного знакомого химика, жившего в этом городе. Фамилия химика была Оттавиани, и служил он, кроме всего прочего, еще и антикваром. За несколько дней пансион отыскался, и 2 апреля 1734 года, в день, когда мне исполнилось девять лет, меня по Брентскому каналу отвезли на барке в Падую.

Мы приехали в ранний час и явились к Оттавиани, жена которого осыпала меня ласками. Он сразу же повел нас в тот дом, не далее чем в пятидесяти шагах, где я должен был остаться на пансионе у старухи-словенки. Перед нею открыли мой маленький сундучок и перебрали все его содержимое, после чего отсчитали шесть цехинов – плату за полгода вперед. Из этих денег она должна была кормить меня, содержать в чистоте и платить учителю; жалобы ее, что на все никак не хватит, остались без внимания. Меня расцеловали, велели беспрекословно слушаться и покинули. Вот так избавились от забот о моей персоне.

Как только мы оказались одни, словенка повела меня на чердак и указала мою кровать среди четырех других. Три из них принадлежали мальчикам моего возраста, которые в то время были в школе, а четвертая – служанке, присматривавшей за ними. Потом хозяйка показала мне сад и оставила гулять там до обеденного часа.

Я не испытывал ни радости, ни печали и не чувствовал даже малейшего любопытства. Меня ужасала сама хозяйка: не имея никакого представления ни о красоте, ни о безобразии, я не мог преодолеть отвращения при виде ее лица, всей наружности и манеры разговаривать. Она была высокой и плотной, как солдат, с желтой кожей, черными волосами и украшенным заметной растительностью подбородком. Безобразная и наполовину открытая грудь, свисавшая почти до пояса, завершала портрет. Ей было, наверное, лет пятьдесят.

То, что называлось «садом», представляло собой квадрат тридцать на сорок шагов, где глаз не встречал ничего приятного, кроме зелени.

К полудню явились трое моих товарищей и, словно мы были уже давно знакомы, стали рассказывать о множестве всяких предметов, почитая само собой разумеющимся то, о чем у меня не было ни малейшего представления.

Я ничего не отвечал им, но это никого не обескуражило, и под конец меня принудили разделить их невинные забавы. Я с готовностью согласился бегать, ездить друг на друге и кувыркаться. Потом нас позвали обедать. Я уселся за стол, но, видя перед собой деревянную ложку, отбросил ее и потребовал свой серебряный прибор, который очень любил как подарок своей доброй бабки. Служанка возразила мне, что у хозяйки заведено для нас все одинаковое; я вынужден был подчиниться сему обычаю и принялся есть суп, удивляясь, что моим товарищам разрешают поглощать его с такой поспешностью. После этого весьма дурного супа нам дали по маленькому кусочку трески – день был постный, – потом по яблоку, и обед закончился. На столе не было ни чашек, ни стаканов, и все прикладывались к одной глиняной кружке с отвратительным пойлом, приготовлявшимся из очищенного винограда и горячей воды. Дальше я пил только чистую воду. Подобный стол поразил меня, хоть я и не понимал, можно ли считать его плохим.

После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику доктору Гоцци, с которым словенка сговорилась на сорока су в месяц, то есть одиннадцатую часть цехина. Меня надо было учить письму, и я попал к шестилетним детям, тут же принявшимся смеяться надо мной.

По возвращении мне дали ужин, оказавшийся еще хуже обеда. Я был удивлен, что на мои жалобы никто не обратил внимания.

Меня уложили в постель, где известные всем насекомые трех разновидностей не дали даже сомкнуть глаз.

К тому же крысы, бегавшие по всему чердаку и забиравшиеся на кровати, заставляли меня леденеть от ужаса.

Пожиравшие мое тело паразиты несколько умеряли страх перед крысами, а страх, в свой черед, отвлекал меня от укусов. Что касается служанки, то она не обращала на мои крики никакого внимания.

С первыми же лучами солнца я покинул отвратительное ложе и, пожаловавшись служанке на перенесенные тяготы, попросил у нее другую рубашку, так как на мою было страшно смотреть. Она же отвечала, что перемену делают только по воскресеньям, а мои угрозы пожаловаться хозяйке лишь рассмешили ее.

Впервые в жизни я плакал от огорчения и злости. В школе я все утро спал, и один из моих товарищей рассказал учителю о причине, желая посмеяться надо мной. Но ниспосланный самим Провидением добрый священник отвел меня к себе в комнату и, удостоверившись собственными глазами в правдивости моего рассказа, тут же пошел со мной в пансион и указал ведьме на покрывавшие мою кожу волдыри. Изобразив удивление, та обвинила во всем служанку. Священник пожелал осмотреть мою постель, и я, не менее чем он, был поражен нечистотой белья, на котором провел ночь. Проклятая баба твердила свое, присовокупляя угрозы прогнать девушку, но когда последняя через некоторое время появилась, то не пожелала терпеть обвинений и заявила, что виновата сама хозяйка. При этом она открыла постели моих товарищей, и мы могли убедиться, что с ними обходились ничуть не лучше. Обозлившаяся хозяйка влепила ей пощечину, но служанка не осталась в долгу, после чего спаслась бегством. Учитель ушел, сказав, что не примет меня в школу, если я не буду таким же опрятным, как и остальные ученики. А на мою долю остались брань и угрозы выставить меня за дверь, если подобная история повторится.

Учитель взял на себя особливую заботу о моем образовании. Он даже усадил меня за свой стол, и я, дабы доказать, что чувствителен к такому отличию, изо всех сил принялся учиться: уже через месяц я писал настолько хорошо, что мне велено было приниматься за грамматику.

Новый образ жизни, неутихающие муки голода и прежде всего, конечно, падуанский воздух принесли мне здоровье, о котором ранее я не смел и помышлять. Но это же здоровье еще более усиливало голод, становившийся совсем непереносимым. Я рос на глазах, непробудно

спал по девять часов и постоянно видел один и тот же сон: будто я сижу за столом, уставленным кушаньями, и насыщаюсь. А наутро приходилось убеждаться, сколь разочаровывают сладкие сны. Всепожирающий голод совсем извел бы меня, если бы я не принялся похищать и поедать все, что только можно было найти и взять, когда никто не видит.

Нужда делает человека изобретательным. Я заприметил в кухонном шкафу штук пятьдесят копченых селедок и понемногу съел их все, равно как и подвешенные у дымохода колбасы. Для этого я вставал ночью и тихонько прокрадывался на кухню. Самым большим лакомством для меня были только что снесенные яйца, которые я таскал из птичника еще теплыми. Я занимался грабительством даже на кухне моего учителя.

Словенка, отчаявшаяся изловить вора, стала прогонять прислугу. Все же случай стащить что-нибудь представлялся далеко не всегда, и поэтому я был тощий, словно скелет.

За пять-шесть месяцев я сделал такие успехи, что учитель назначил меня старостой школы. В мои обязанности входило проверять уроки тридцати учеников, исправлять ошибки и подавать учителю с похвальным или порицательным отзывом. Однако же лентяи быстро нашли способ смягчить меня. Когда в их латыни обнаруживались ошибки, они покупали мою снисходительность жареными котлетами, а иногда и деньгами. В скором времени я уже не довольствовался контрибуцией с невежд и, как истинный тиран, отказывал в своем благоволении каждому, кто не сумел задобрить меня. Не в силах сносить больше такую несправедливость, они пожаловались учителю. Я был уличен и низвергнут. Несомненно, это падение принесло бы мне большую беду, если бы судьба не положила вскоре конец моему первоначальному искусу.

Учитель все-таки любил меня и однажды, приведя в свою комнату, спросил, не хочу ли я последовать некоторым его советам, дабы распроститься с пансионом словенки и перейти к нему в дом. Видя восторг, вызванный этим предложением, он дал мне переписать три письма, которые я затем должен был отослать аббату Гримани, моему благожелателю синьору Баффо и доброй моей бабке. В этих письмах я описывал все свои страдания, изображая неизбежность смерти, если не заберут меня от словенки и не поместят к моему учителю, который, однако, желает иметь два цехина в месяц.

Синьор Гримани даже не удостоил меня ответом и лишь велел своему другу Оттавиани выговорить мне за то, что я дал совратить себя с правильного пути. Однако синьор Баффо поговорил с моей бабкой и в письме сообщил мне, что в скором времени я могу надеяться на перемену. Так оно и вышло – через неделю, как раз в ту минуту, когда я садился обедать, появилась моя добрейшая бабка. Она вошла вместе с хозяйкой, и я, едва завидев ее, тут же бросился ей на шею, обливаясь слезами. Она села и поставила меня меж колен, уже одним присутствием сообщив мне спокойствие и уверенность. Тут же при самой словенке я перечислил ей все свои злоключения и, указав на нищенский стол, который составлял единственное мое пропитание, отвел ее к своей постели. Закончил я просьбой накормить меня настоящим обедом после шести месяцев голодного существования. Сама словенка только твердила, что не могла предоставить ничего лучшего за те деньги, которые ей заплатили. Это была сущая правда, но кто принуждал ее держать пансион и быть мучительницей детей, которых родительская скаредность оставляла на ее попечение?

Моя бабка с совершенным спокойствием объявила ей, что намеревается забрать меня, и велела уложить в сундучок все мои пожитки. Я с восторгом увидел свой серебряный прибор и, схватив его, поспешил спрятать в карман. Радость моя при виде приготовлений не поддается описанию. Впервые в жизни я почувствовал то удовлетворение, которое заставляет все простить и изгладить из памяти.

Бабка отвела меня в гостиницу, где она остановилась, и мы сели обедать. Впрочем, сама она ни к чему не притрагивалась, настолько поразила ее та жадность, с которой я набросился на еду. Тем временем явился предупрежденный уже доктор Гоцци, достойные манеры которого сразу расположили бабку в его пользу. Благообразный священник двадцати шести лет от роду

отличался дородностью, скромным обращением и услужливостью. За четверть часа все было договорено. Добрая моя бабка отсчитала ему двадцать четыре цехина за год вперед и получила в том квитанцию. Однако же она продержала меня у себя еще три дня, чтобы нарядить в одеяния аббата и заготовить парик: вследствие нечистоплотности мне пришлось обрезать волосы.

По прошествии трех дней она пожелала лично водворить меня к доктору Гоцци и просить его мать позаботиться обо мне. Последняя сначала потребовала, чтобы для меня прислали или купили кровать, но доктор возразил, что я могу спать с ним, так как постель его достаточно вместительна. Бабка поблагодарила его, после чего мы пошли проводить ее к барке, на которой она отправлялась обратно в Венецию.

Семейство доктора Гоцци состояло из его матери, относившейся к нему с большим почтением, поскольку родилась она простой крестьянкой и не считала себя достойной иметь сына священника: она была стара, безобразна и сварлива; отца, башмачника, который работал целыми днями и не говорил никому ни слова, даже за столом. Лишь по праздникам он становился общительнее, так как в эти дни неизменно посещал питейное заведение в компании приятелей и возвращался лишь к полуночи, едва держась на ногах и распевая стихи Тассо. В таком состоянии старик никак не мог улечься, а когда его пытались принудить к тому, свирепел. Трезвый он был совершенно лишен сообразительности и не мог рассуждать даже о самом пустячном семейном деле. Жена его говаривала, что он никогда бы на ней не женился, если бы перед тем, как идти в церковь, его не угостили добрым завтраком.

Доктор Гоцци имел также сестру тринадцати лет по имени Беттина. Это была веселая, красивая девица и великая охотница до чтения романов. Отец с матерью непрестанно бранили ее за то, что она слишком много времени проводит у окна, а доктор не одобрял пристрастия сестры к чтению. Сия девица сразу же приглянулась мне, хоть я и не понимал причины этого чувства. Именно тогда мало-помалу возгорелись в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии сделалась для меня господствующей.

Через шесть месяцев после моего водворения в этом доме доктор оказался без учеников – все они перестали ходить к нему, так как я сделался единственным предметом его привязанности. По этой причине он решился открыть небольшую школу с пансионом, однако прошло два года, прежде чем таковой замысел смог осуществиться, а тем временем он передал мне все свои познания, которые, по правде говоря, были весьма скромными. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы познакомить меня со всеми науками. Кроме того, я выучился у него играть на скрипке, чем был принужден воспользоваться при обстоятельствах, о которых читатель узнает в свое время. Добрый доктор Гоцци, не обладая глубиной ни в каком предмете, преподавал мне аристотелеву логику и космографию по древней системе Птолемея: а я непрестанно подсмеивался и выводил его из себя вопросами, на которые он не знал, что ответить. Зато его нравственность была безупречна, а в религии, не будучи ханжой, он отличался величайшей строгостью. Все для него основывалось на вере, и ничто не смущало его разум: потоп был Всемирным; люди до этой катастрофы жили по тысяче лет, и Бог имел обыкновение беседовать с ними; Ной строил ковчег сто лет, а Земля, созданная Богом из ничего, находится в центре Вселенной. Когда я пытался убедить его, что существование «ничто» абсурдно, он обрывал меня и называл глупцом.

Любил он удобную постель, полуштоф и семейное веселье. Его не привлекали ни острое словцо, ни проницательный ум, ни тем более скептицизм, столь легко обращающийся в злословие, и он смеялся над глупостью тех, кто проводит время за чтением газет, которые, по его мнению, всегда лгут и повторяют одно и то же. Он говорил, что нет ничего обременительнее неопределенности, и потому не одобрял ни в ком наличия собственного мнения, порождающего колебания веры.

Его любимым занятием было произносить проповеди, чему способствовали благообразие лица и выразительность голоса. Слушать его приходили только женщины, в которых он тем

не менее видел заклятых врагов; а когда ему приходилось разговаривать с какой-нибудь из них, он никогда не смотрел ей в лицо. Плотский грех он почитал наитягчайшим среди всех других. Проповеди его были наполнены изречениями греческих авторов, которые он переводил на латынь. Однажды, когда я осмелился сказать ему, что переводить надо на итальянский, так как прихожанки одинаково не понимают ни латыни, ни греческого, он рассердился настолько сильно, что я уже не решался более заговаривать об этом предмете. Впрочем, он хвастался мною перед своими друзьями как настоящим чудом, поскольку я научился читать по-гречески сам, с помощью одной лишь грамматики.

На Великий пост 1736 года матушка моя в письме сообщила доктору, что, собираясь скоро отправиться в Петербург, желала бы повидать меня, и поэтому просит его приехать вместе со мной на три или четыре дня в Венецию. Приглашение немало смутило моего учителя, ибо он никогда не видывал ни Венеции, ни хорошего общества, но не хотел при этом показаться совершенным профаном. После некоторых колебаний мы собрались ехать, и все семейство проводило нас на барку.

Матушка приняла его с самой благородной непринужденностью, а поскольку она была хороша собой, как ясный день, мой бедный учитель сильно засмущался и не осмеливался даже смотреть в ее сторону, хотя и вынужден был отвечать на вопросы. Что касается меня, то я привлекал внимание всех окружающих, да оно и не удивительно – помня меня чуть ли не слабоумным, они поражались, насколько я выправился за эти два года. Доктор был весьма доволен, видя, что заслугу в таковой метаморфозе относят исключительно на его счет.

Однако же матушку неприятно поразил мой парик, который белел над моим смуглым лицом, являя жестокое несоответствие с темными глазами и ресницами. Доктор, спрошенный, почему мне не причесывают собственные волосы, отвечал, что с париком его сестре легче содержать меня в чистоте. Этот наивный ответ вызвал общий смех, усилившийся еще более, когда вслед за вопросом, замужем ли она, вмешался в разговор я с уверениями в том, что Беттина самая красивая девушка во всем квартале и пока ей только четырнадцать лет. Матушка пообещала доктору сделать его сестре хороший подарок, но при условии, что меня будут причесывать без парика. Он обещал непременно исполнить ее желание. Затем матушка велела позвать парикмахера, который принес подходящий для меня парик.

Все общество, исключая моего учителя, село за карты, а я отправился в комнату бабки повидаться со своими братьями. Франческо показал мне свои архитектурные рисунки, которые я из вежливости признал довольно сносными. Джованни не мог ничем похвастать, и поэтому я счел его совершенным ничтожеством. Что касается остальных, то они были еще совсем малы.

За ужином доктор, сидевший возле моей матери, держался с крайней неловкостью и, возможно, не произнес бы ни единого слова, если бы некий сочинитель-англичанин не обратился к нему на латыни. Ничего не поняв, он отвечал, что не разумеет по-английски, чем вызвал всеобщее веселье. Синьор Баффо пришел ему на помощь, заметив, что англичане имеют обыкновение произносить латынь в точности как свой родной язык.

По прошествии четырех дней, когда наступило время расставаться, матушка вручила мне пакет для Беттины, а аббат Гримани подарил четыре цехина на книги. Через неделю после моего отъезда матушка уехала в Петербург.

Возвратившись в Падую, учитель три или четыре месяца чуть ли не каждый день вспоминал о моей матушке, а Беттина, найдя в предназначавшемся ей пакете пять локтей черного люстрина[4] и дюжину перчаток, воспылала ко мне такой привязанностью, что менее чем за полгода я смог избавиться от парика. Она ежедневно являлась причесывать меня, часто еще до того, как я вставал, и тогда мыла мне лицо, шею и грудь, что сопровождалось ребяческими

[4] Полушерстяная или шерстяная материя с глянцем.

шалостями, каковые, против моей воли, вызывали во мне волнение. Усевшись на постель, она говорила, что я толстею, чем приводила меня в крайнее возбуждение.

Я сердился на себя за неумение отвечать ей тем же. Она осыпала меня нежнейшими поцелуями, но я еще не осмеливался возвращать их, несмотря на все свое к тому желание.

В начале осени доктор взял трех новых пансионеров, и один из них, юноша лет пятнадцати, менее чем за месяц сделался с Беттиной весьма близок.

Это наблюдение вызвало во мне чувства, о которых до тех пор я не имел ни малейшего понятия. Это была совсем не ревность, а в некотором роде благородное презрение, ибо Кордиани – невежественный, грубый, лишенный ума и манер, да к тому же сын простого крестьянина, – имел передо мной лишь одно преимущество: свои годы. Мое зарождающееся самолюбие говорило, что я достойнее его, и во мне росло чувство гордости, смешанное с презрением к Беттине, которую, сам того не подозревая, я уже любил.

Она поняла мое отношение по тому, как я стал принимать ее ласки за утренним туалетом: не отвечал на поцелуи и всячески увертывался. Однажды, уязвленная этим, она с притворным сожалением сказала, что я просто ревную к Кордиани. Упрек показался мне унизительной клеветой, и я отвечал, что полагаю их вполне достойными друг друга.

Она лишь улыбнулась в ответ, но сама решила любыми способами заставить меня ревновать.

Однажды утром она явилась к моей постели с парой белых чулок, которые сама связала для меня. Сделав мне прическу, она захотела их примерить, дабы убедиться, все ли хорошо получилось. Доктор как раз в это время служил мессу. Надевая мне чулки, она стала говорить о моих не совсем чистых коленях и, не спрашивая позволения, принялась мыть меня. Я не хотел показать, что мне стыдно, и не сопротивлялся, совершенно не подозревая, чем все это кончится. Беттина зашла слишком далеко в своих заботах о чистоте, и ее любопытство настолько возбудило меня, что ей пришлось остановиться, лишь когда идти далее было уже невозможно. Вернувшись к спокойному состоянию, я счел нужным признать себя виновником всего случившегося и просить у нее прощения. Она не ожидала этого и, недолго поразмыслив, снисходительно отвечала, что, напротив, вся вина лежит на ней, и в будущем подобное никогда не повторится. Сказав это, она оставила меня рассуждать о происшедшем с самим собой.

Я жестоко терзался угрызениями совести. Мне представлялось, что я обесчестил ее, злоупотребил доверием и гостеприимством всего семейства и могу искупить свое ужасное преступление, лишь женившись на ней, если, конечно, Беттина согласится на такого недостойного мужа.

Меня объяла мрачная тоска, усиливавшаяся день ото дня, тем более что Беттина совершенно перестала приходить ко мне по утрам. Первую неделю сдержанность девицы представлялась вполне объяснимой, и печаль моя превратилась бы в чисто платоническую любовь, если бы ее обращение с Кордиани не отравляло мою душу ядом ревности, хоть я и не мог даже предположить, что и с ним она совершила тот же грех.

Рассудив, в конце концов, что все случившееся произошло по собственному ее желанию и лишь раскаяние мешает ей приходить ко мне, я почувствовал себя весьма польщенным, ибо мог в таковом случае рассчитывать на взаимность. Сие заблуждение побудило меня ободрить ее запиской.

Я сочинил короткое письмецо, впрочем, вполне достаточное, чтобы успокоить ее, если бы она полагала себя виновной или подозревала во мне чувства, противоположные тем, каких требовало ее самолюбие. Письмо показалось мне истинным шедевром, который сам по себе мог бы дать мне решительный перевес над Кордиани. Ведь последний, в моем представлении, не мог рассчитывать даже на минутное колебание Беттины при выборе одного из нас. Получив записку, она уже через полчаса сказала мне, что завтра утром будет у меня в комнате. Я ждал ее, но напрасно. Возмущению моему не было границ, и я тем более удивился, когда за обедом

она предложила нарядить меня девочкой к балу, который давал через неделю наш сосед доктор Оливо. Я согласился, усматривая в этом случай для возобновления наших нежных отношений. Но вот какие события послужили препятствием этому плану и даже явились причиной разыгравшейся трагикомедии.

Крестный отец доктора Гоцци, богатый старик, живший в деревне, долгое время болел и теперь, полагая себя на пороге смерти, послал доктору свой экипаж и просил незамедлительно приехать, дабы присутствовать при его кончине.

Желая использовать сие обстоятельство в своих целях, я, чтобы не мучиться ожиданием назначенного бала, улучил минуту и шепнул Беттине, что оставлю открытой дверь своей комнаты и, когда все улягутся, буду ждать ее. Она обещала непременно прийти. Я был в восторге, видя, что желанная минута совсем близка.

Возвратившись к себе в комнату, я не стал раздеваться, а только потушил свет. До полуночи я ждал без особого беспокойства. Но пробило два, три и четыре часа ночи, а ее все не было. Кровь во мне разыгралась, я страшно рассердился. Большими хлопьями падал снег, но изнемогал я более от ярости, чем от холода, и за час до рассвета, не в силах сдерживать себя, решился осторожно, без туфель, чтобы не разбудить собаку, спуститься вниз. Дверь Беттины должна была быть открыта, если она вышла. Однако дверь не поддавалась. Поскольку ее могли запереть только изнутри, я решил, что Беттина заснула, и хотел стучать, но побоялся лая собаки. Удрученный, не зная, что делать, уселся я было прямо на лестнице, но от холода и усталости почел за лучшее все же возвратиться к себе. Однако стоило мне подняться, как в тот же миг послышался у Беттины шум. Надежда увидеть ее возвратила мне силы, я подошел к двери, которая вдруг отворилась, но вместо самой девицы я увидел Кордиани, и сильнейший удар ногой в живот свалил меня. Кордиани быстро пошел в залу, где спал вместе с двумя своими товарищами, и заперся там.

Я тут же вскочил, намереваясь выместить обиду на Беттине, которую ничто не спасло бы от моей ярости. Но дверь опять закрылась, и мне оставалось только изо всех сил пинать ее ногами. Залаяла собака, и я принужден был поспешно укрыться в своей комнате, где бросился на постель. Нужно было дать отдохновение душе и телу, ибо чувствовал я себя хуже мертвого.

Обманутый, униженный и избитый, я в течение трех часов перебирал самые страшные планы мести. Отравить обоих казалось мне слишком легким наказанием. Для нее будет много хуже, если рассказать обо всем брату. Мои двенадцать лет еще не выработали во мне способности к хладнокровному возмездию.

Вечером вернулся доктор: Кордиани, страшившийся моей мести, пришел спросить о моих намерениях. Но я бросился на него с перочинным ножом, и он поспешил сбежать. Мысль рассказать доктору про эту скандальную историю уже не приходила мне в голову, поскольку могла зародиться лишь в минуту ослепления.

Должен признаться, что, несмотря на этот превосходный урок, полученный еще в детские годы, урок, который мог бы послужить путеводителем на будущее, в течение всей моей жизни женщины водили меня за нос. Лет двенадцать назад только благодаря моему ангелу-хранителю я не женился в Вене на одной молодой ветренице, в которую был безумно влюблен. Теперь мне семьдесят два года, и я полагаю себя защищенным от подобных сумасбродств. Но, увы, именно это и печалит меня!

Тем временем матушка моя возвратилась из Петербурга, где императрица Анна Иоанновна нашла итальянскую комедию недостаточно занимательной. Приехав в Падую, матушка сразу же послала к доктору Гоцци, который поспешил отвести меня к ней в гостиницу. Мы вместе отобедали, и, прежде чем расстаться, она подарила доктору красивый мех, а для Беттины дала мне превосходную волчью шкуру.

Через полгода матушка снова вызвала меня, уже в Венецию: она собиралась по бессрочному контракту в Дрезден на службу к саксонскому электору[5] и королю Польши Августу III. Она взяла с собой моего брата Джованни, которому было тогда восемь лет и который ревел, словно резаный, что показалось мне совсем глупым, поскольку в его отъезде я не видел ничего трагического.

После этого я провел в Падуе еще год и занимался изучением права. Шестнадцати лет я получил степень доктора, представив по гражданскому праву диссертацию «О завещаниях», а по каноническому – «Дозволительно ли евреям строить новые синагоги».

Хотя я чувствовал в себе призвание к медицине, меня не послушали, полагая за наилучшее юриспруденцию, к которой я испытывал неодолимое отвращение. Считалось, что заработать достаточные средства можно лишь профессией адвоката. Если бы мои родные дали себе труд поразмыслить, то предоставили бы мне следовать собственным своим склонностям, и я посвятил бы себя медицине, где шарлатанство необходимо еще более, чем в юриспруденции. Однако я не стал ни лекарем, ни адвокатом, что неудивительно, поскольку никогда не испытывал нужды в услугах тех и других. Судейское крючкотворство разоряет куда больше семейств, чем защищает, а погибающие от руки врача намного превышают число исцеленных.

Необходимость посещать лекции профессоров в университете позволила мне одному выходить на улицу, и, желая воспользоваться всей полнотой свободы, я не замедлил завести весьма дурные знакомства среди наиболее известных студентов. А таковыми были самые отъявленные шалопаи, развратники, картежники, дебоширы, пьяницы, совратители невинных девиц. Все они отличались лживостью, грубостью и неспособностью даже к малейшему добродетельному чувству. Вот в такой компании я начал познавать мир, читая в великой книге опыта.

Влияние нравственной теории на жизнь человека можно уподобить перелистыванию оглавления в книге, которую еще не начал читать. Таковы же проповеди и правила поведения, внушаемые учителями. Мы слушаем со вниманием, но едва представится возможность испытать полученные советы, сразу возникает желание проверить, произойдет ли то, от чего нас предостерегали. Мы не можем удержаться и бываем наказаны. Единственное, что вознаграждает, – это сознание обретенной истины и право поучать других. Но ведь эти «другие» ничем не отличаются от нас, и поэтому мир остается все в том же состоянии, если не идет от плохого к еще худшему.

Пользуясь предоставленной мне доктором Гоцци свободой, я открыл для себя истины, совершенно не известные мне ранее. В первые же дни самые отчаянные из студентов завладели мною и принялись меня испытывать. Видя, что я неопытен, они занялись моим образованием, устраивая всяческие ловушки. Все началось с карт. Завладев теми небольшими деньгами, которые у меня были, они заставили меня играть на слово, и мне пришлось заниматься разными темными делами, чтобы заплатить долги. Вот тут я узнал, что такое заботы! Эти жестокие уроки, тем не менее, были мне полезны, ибо научили не доверять наглецам, восхваляющим вас в лицо, и не принимать лесть за чистую монету. Кроме того, я постиг, что следует всемерно избегать искателей скандалов: их общество подобно тропинке на краю пропасти. И я не попал в сети женщин, сделавших разврат своим ремеслом, лишь потому, что не видел среди них ни одной столь же привлекательной, как Беттина.

В те времена падуанские студенты имели большие привилегии, которые превратились прямо-таки в узаконенное зло. А дабы сохранить их в действии, студенты нередко совершали настоящие преступления, причем виновных не наказывали с должной строгостью: из соображений государственной пользы власти не хотели, чтобы уменьшилось число студентов, стекавшихся в этот славный университет со всей Европы. Венецианское правительство взяло себе за

[5] Курфюрст, призывавшийся, в прежние времена, для подания голоса при выборе германского императора.

правило платить большое жалованье знаменитым профессорам и предоставлять тем, кто слушает их лекции, полную свободу. Студенты подчинялись лишь старшему чиновнику, который назывался синдиком. Этот синдик нес перед правительством ответственность за соблюдение порядка и в случае нарушения законов должен был передавать провинившихся в руки правосудия. Студенты обычно подчинялись ему, так как если они предоставляли хоть видимость оправдания, он всегда становился на их сторону.

Они, например, носили любое запрещенное оружие, безнаказанно совращали девиц, которых родители не умели защитить от их посягательств, и своими шумными выходками нарушали спокойствие по ночам. Эти необузданные юнцы стремились лишь удовлетворять собственные прихоти и развлекаться, нимало не заботясь о покое своих ближних.

Однажды случилось так, что в кофейню, где сидели два студента, зашел полицейский пристав, чем они были весьма недовольны и велели ему уйти. Пристав не послушался, и тогда один из школяров выстрелил в него из пистолета, но промахнулся. Полицейский оказался ловчее и ответным выстрелом ранил нападавшего. В университет сразу же сбежалось множество студентов, они разделились на отряды, отправились искать по всем кварталам полицейских и в отместку за нанесенное оскорбление убивать их. В одной из стычек полегли на месте двое школяров. Тогда собрался весь университет, и студенты поклялись не складывать оружие до тех пор, пока в Падуе остается хоть один полицейский. Вмешалось правительство, но синдик обещал кончить дело миром, если студенты будут удовлетворены. Полицейского, ранившего студента в кофейне, повесили, и спокойствие восстановилось. В течение всех восьми дней беспорядков я не хотел отставать от других и присоединился к общему потоку школяров.

Вооружившись пистолетами и карабином, я расхаживал по улицам вместе с товарищами и искал врагов. Помню, мне было весьма досадно, что нашему отряду не посчастливилось встретить хоть одного полицейского.

Доктор смеялся надо мной, но Беттина восхищалась моей храбростью.

Начав новый образ жизни, я не хотел казаться беднее своих друзей и впал в непозволительные для меня расходы. Пришлось продать или заложить все, что у меня было, но все равно я оказался не в состоянии заплатить долги. Не зная, на что решиться, я написал письмо моей доброй бабке и попросил о помощи. Вместо того чтобы послать мне денег, она 1 октября 1739 года явилась в Падую собственной персоной и, отблагодарив доктора и Беттину за их заботы, увезла меня в Венецию.

Перед расставанием прослезившийся доктор подарил мне свою самую большую драгоценность – мощи не помню уж какого святого. Возможно, я хранил бы их и до сегодняшнего дня, если бы они не были оправлены в золото. Благодаря последнему обстоятельству смогло произойти чудо, выручившее меня в дни нужды.

Впоследствии, когда я приезжал в Падую для продолжения занятий в университете, то неизменно останавливался у сего доброго священника, хотя мне и было досадно видеть около Беттины этого болвана Кордиани, собиравшегося на ней жениться. Я не мог простить себе, что предрассудок – от него я, впрочем, скоро избавился – принудил меня оставить ему цветок, который легко можно было сорвать самому.

Венеция

«Он приехал из Падуи, где занимается изучением наук», – такими словами меня представляли всюду, куда бы я ни приходил, и это незамедлительно вызывало интерес моих сверстников, похвалы отцов и ласковое отношение старух и женщин, не достигших еще преклонного возраста, но желающих целовать меня, не нарушая приличий.

Принявший меня настоятель церкви Святого Самюэля составил мне протекцию к монсеньору Корреро, венецианскому патриарху, который выстриг мне тонзуру. Радость и удовлетворение моей бабки были безграничны. Сразу нашли достойных учителей для продолжения моего ученья, и синьор Баффо выбрал из них аббата Скиаво: преподавать мне итальянское правописание и стихосложение, к нему я имел решительную склонность. Меня устроили со всеми возможными удобствами у брата Франческо, который обучался театральной архитектуре. Сестра и самый младший из братьев жили у нашей доброй бабки, в доме, где она намеревалась умереть, потому что там скончался ее муж. А мы с Франческо занимали дом, в котором последние годы жил отец, и мать все еще продолжала платить аренду. Дом этот был просторен и превосходно обставлен.

Хотя аббат Гримани и считался моим первейшим покровителем, видел я его чрезвычайно редко. Зато я сильно привязался к синьору Малипьеро. Это был семидесятилетний сенатор, который не желал более вмешиваться в государственные дела и предавался в своем дворце радостям беззаботной жизни. У него каждый вечер собиралось избранное общество: дамы, которые в лучшие свои годы умели ничего не упустить, и мужчины, отличавшиеся умом и осведомленные обо всем, что происходит в городе. Сам он остался холостяком и обладал большим состоянием, но, к несчастью, три-четыре раза в год страдал жесточайшими приступами подагры, которая лишала его возможности пользоваться то одной, то другой частью тела. Лишь голова, легкие и желудок оставались не подверженными этой лютой напасти. Он был недурен собой и любил изысканный стол. Острый ум и глубокое знание света соединялись в нем с той проницательностью, которая остается у сенатора после сорока лет службы. Он перестал волочиться за красавицами, когда, перебрав не менее двадцати любовниц, сознался самому себе, что уже нет никакой надежды понравиться хоть одной из них. Почти совершенно разбитый параличом, он не выглядел, однако же, немощным, когда сидел в креслах, беседовал или находился за столом. Он ел только раз в день и всегда в одиночестве, поскольку, лишившись зубов, мог жевать лишь весьма медленно и не желал ни торопиться сам из любезности к своим гостям, ни утомлять их ожиданием. Подобная деликатность лишала его удовольствия видеть за своим столом приятных ему особ и особенно огорчала его превосходного повара.

Этот человек, отступившийся от всего, исключая самого себя, питал еще, несмотря на лета и подагру, склонность к любовным делам. Он был влюблен в юную девицу по имени Тереза Имер, дочь комедианта, которая жила в соседнем с его дворцом доме и окна которой располагались как раз напротив его спальни. Семнадцатилетнее создание отличалось красотой, кокетством и причудами. Она училась музыке, и ее постоянно можно было видеть в окне, что совершенно выводило старика из равновесия и доставляло ему жестокие мучения. Тереза каждый день являлась к нему с визитом, однако всегда в сопровождении матери, отставной актрисы, которая ежедневно водила дочку слушать мессу и заставляла ее каждую неделю исповедоваться. Однако же не менее исправно ходила она со своим чадом к влюбленному старику, устрашавшему меня своим исступлением, если девица отказывала ему в поцелуе под тем предлогом, что с утра готовится к причастию и боится оскорбить Бога.

Какая картина для меня, имевшего лишь пятнадцать лет от роду, немого свидетеля этих эротических сцен! Бесстыдная мать поощряла сопротивление юной особы и даже осмеливалась поучать старика, который не решался возражать и лишь сдерживался, чтобы не запустить в нее

первым попавшим под руку предметом. В таковом состоянии гнев брал верх над вожделением, и, когда они уходили, ему оставалось лишь утешаться философскими рассуждениями.

Благодаря участию в этих сценах я завоевал расположение вельможи. Он допустил меня к своим вечерним собраниям, на которые, как я уже говорил, съезжались престарелые дамы и рассудительные кавалеры. Он говорил мне, что в подобном обществе я постигну науку несравненно более глубокую, чем философия Гассенди; ее я изучал тогда по его рекомендации вместо осмеянного им учения Аристотеля. Сенатор дал мне несколько советов, которым я должен был следовать на этих собраниях. Он дозволил мне говорить лишь в том случае, если нужно ответить на прямой вопрос, и ни при каких обстоятельствах не высказывать своего мнения, поскольку в моем возрасте его вообще не должно иметь.

Я получил письмо от графини де Мон-Реаль, которая приглашала меня приехать к ней в имение Пазеан.

Отправившись туда на Пасху, я нашел там немногочисленное общество, состоящее из старшего в семье графа Даниэля, женатого на некой графине Гоцци, молодого откупщика, только что сочетавшегося браком с крестницей старой графини, и его свояченицы.

Совершенно незнакомая мне доселе фигура новобрачной вызвала у меня живейший интерес, и хотя сестра ее была много красивее, я оказался более чувствителен к неопытности, видя здесь больше чести в достижении цели.

Сия новобрачная лет восемнадцати или двадцати обращала на себя внимание всего общества своими притворными манерами. Чрезмерно говорливая, державшая в памяти множество изречений, которые часто вставляла совершенно не к месту, набожная и настолько влюбленная в своего мужа, что даже не умела скрыть огорчения, когда он слишком красноречиво посматривал на ее сестру, она и во многом другом казалась крайне комичной. Муж ее был вертопрахом, который, может быть, и любил молодую жену, но, подчиняясь требованиям хорошего тона, считал себя обязанным выказывать безразличие, да к тому же из тщеславия забавлялся тем, что давал ей поводы для ревности.

В свою очередь и она, боясь прослыть дурочкой, старалась изображать равнодушие. Хорошее общество стесняло ее как раз потому, что ей хотелось казаться созданной для него.

Когда я нес вздор, она слушала меня внимательно и смеялась в самых неподходящих местах. Ее неловкости и странности возбуждали во мне желание более близкого знакомства, и я принялся волочиться за нею.

Все мои усилия, знаки внимания и даже ужимки – все открыто указывало окружающим на мои намерения. Донесли мужу, но он лишь острил по этому поводу и даже подзадоривал меня. Через пять или шесть дней моих усиленных ухаживаний, прогуливаясь как-то со мною по саду, она бесцеремонно объявила о причинах своей обеспокоенности поведением мужа. Я в дружеском тоне отвечал, что самый подходящий способ заставить его исправиться – это не замечать его внимания к свояченице и прикинуться влюбленной в меня. Стремясь с большей убедительностью склонить ее к моему предложению, я присовокупил, что сделать это будет весьма трудно и нужно обладать немалым умом, дабы сыграть столь двусмысленную роль. Я коснулся чувствительного места, и она уверила меня, что устроит все наилучшим образом, хотя на самом деле и в этом выказала свойственную ей неловкость.

Когда мы оставались наедине в аллеях сада и нас никто не мог увидеть, я старался заставить ее играть условленную роль, но она всякий раз убегала и присоединялась к обществу, так что меня называли не иначе как неловким охотником. Улучив подходящую минуту, я упрекал ее, доказывая, что она играет на руку своему мужу. Однако на одиннадцатый или двенадцатый день, в самый разгар моих глубокомысленных рассуждений, она совершенно сбила меня с толку, заметив, что я как священник не могу не знать: всякая любовная связь – это смертный грех, что Бог все видит и она совсем не хочет навлечь на себя проклятие или признаться духовнику в прегрешении со служителем церкви. Мое возражение, что я не священник, она

парировала вопросом, относятся ли мои намерения к числу греховных. Не имея храбрости отрицать это, я решил прекратить попытки.

Ко мне вернулся покой, и мое новое поведение было незамедлительно отмечено за столом. Любивший пошутить старый граф во всеуслышание заявил, что, по всей видимости, дело закончилось. Однако фортуна все-таки услужила мне, и вот какую развязку получила вся эта интрига.

В праздник Вознесения общество отправилось с визитом к знаменитости итальянского Парнаса синьоре Бергали. Вечером, когда мы собирались возвращаться в Пазеан, моя очаровательная откупщица пожелала ехать в четырехместном экипаже, где уже сидели ее муж и сестра, в то время как я был один в превосходной коляске. К моим громким протестам по поводу такого знака недоверия присоединилось все общество, убеждавшее ее не делать мне такого афронта. Наконец она уступила, и я велел вознице ехать самой короткой дорогой. Он отделился от остальных и направился через лес. Когда мы отъезжали, небо было безоблачно, однако менее чем через полчаса, как это нередко случается в южных странах, собралась гроза.

– О Боже! – воскликнула моя кокетка. – Мы попадем в грозу!

– Да, – отвечал я, – хотя у коляски есть верх, дождь испортит ваше красивое платье.

– Мне не жаль платья, я боюсь грома.

– Заткните уши.

– А молния?

– Возница, отвезите нас куда-нибудь под крышу.

– Ближайшие дома не ближе полулье отсюда, сударь, и пока мы доберемся, гроза кончится.

Он спокойно продолжал ехать своей дорогой, и вот уже засверкали одна за другой молнии, а девушка стала сильно дрожать. Полился обильный дождь. Я снял свой плащ, чтобы закрыть нас спереди, и в тот же миг, ослепленные вспышкой, мы увидели, как в ста шагах ударила молния. Лошади стали на дыбы, а мою бедную спутницу охватили спазматические конвульсии. Она бросилась ко мне и крепко прижалась; я же наклонился, чтобы поправить сбившийся плащ, и, воспользовавшись благоприятным случаем, приподнял ее платье. Она пыталась сопротивляться, но в эту минуту раздался новый удар грома, заставивший ее оцепенеть. Стараясь укрыть нас обоих плащом, я привлек ее к себе, и, благодаря этому движению, совпавшему с толчком экипажа, она упала на меня в самом благоприятном положении. Не теряя времени и сделав вид, что хочу поправить часы в кармане панталон, я приготовился к штурму. Поняв, что если не помешать мне сразу же, то к защите не останется никаких средств, она сделала усилие, но, сдерживая ее, я сказал, что если она не изобразит обморок, возница обернется и все увидит. Я предоставил ей удовольствие называть меня нечестивцем, подлецом и всеми именами, какие только она могла вспомнить. Победа была полной и не оставляла желать ничего лучшего. Дождь продолжал лить потоками, в лицо дул крепкий ветер. Вынужденная оставаться в том же положении, она стала жаловаться, что я обесчещу ее, так как возница может все заметить.

– Я слежу за ним, он и не думает оборачиваться. Кроме того, мы закрыты плащом. Будьте благоразумны и изобразите обморок, я все равно не отпущу вас.

Она, по всей видимости, смирилась и спросила, неужели меня не страшит молния. Успокоенная ответом и чувствуя мой экстаз, она осведомилась, кончил ли я. С улыбкой я возразил, что еще нет и прошу ее согласия до самого конца грозы.

– Соглашайтесь, или я сброшу плащ.

– Ужасный человек, из-за вас я буду несчастна до конца своих дней! Но теперь-то вы удовлетворены?

– Нет.

– Что же еще?

– Тысячу поцелуев.

– Почему я так несчастна?!

– Скажите, что прощаете меня, и признайтесь, вам было приятно со мной?

– Вы сами знаете. Я вас прощаю.

Тогда я возвратил ей свободу, однако позволив себе при этом некоторые вольности.

– Я хочу слышать, что вы любите меня.

– Нет, вы безбожник, и вас ждет ад.

Наконец природа успокоилась. Целуя ей руки, я сказал, что возница ничего не видел и она может не беспокоиться, а кроме того, я излечил ее от страха перед грозой. Она отвечала, что, во всяком случае, до сих пор ни одна женщина не излечивалась подобным способом.

– За тысячу лет это должно было случиться миллионы раз. Даже более. Садясь в коляску, я на то и рассчитывал, ведь у меня не оставалось никаких других средств добиться вас. Не огорчайтесь, ни одна боязливая женщина не смогла бы на вашем месте сопротивляться.

– Конечно, но теперь я буду ездить только с мужем.

– И поступите весьма безрассудно, ведь он не догадается успокоить вас таким же лекарством.

– Это справедливо, с вами узнаешь много необычного, но все-таки мы больше не будем ездить наедине.

Беседуя таким манером, мы приехали в Пазеан на час раньше остальных. Моя красавица сразу же сбежала и заперлась в своей комнате, а я тем временем рылся в кошельке, чтобы найти экю для возницы, который стоял, улыбаясь.

– Чему ты смеешься? – спросил я его.

– Вы сами знаете.

– Вот тебе дукат, и смотри не болтай.

За ужином только и говорили о грозе, и откупщик, знавший боязливость своей жены, сказал, что теперь я уж, конечно, никогда не соглашусь ехать вместе с нею. «А я и тем более, – поспешила добавить кокетка. – Он безбожник, который отпускает шуточки, даже когда гремит гром».

Эта женщина с такой ловкостью избегала меня, что я не имел более случая остаться с ней наедине хотя бы на минуту.

Возвратившись в Венецию, я нашел свою добрую бабку пораженной болезнью и поэтому был вынужден прервать все свои обычные занятия, так как слишком любил ее и боялся упустить малейшую возможность позаботиться о ней. Она не могла оставить мне никакого наследства, ибо отдала уже все, что имела когда-то. И тем не менее после ее смерти мне пришлось переменить свой образ жизни.

По прошествии месяца я получил от матушки письмо, в котором сообщалось, что, не предполагая возвращаться в Венецию, она решилась оставить арендуемый ею дом и уведомила о своих намерениях аббата Гримани, советам которого я и в будущем должен неукоснительно следовать. Ему же поручалось продать всю обстановку и поместить меня, равно как и моих братьев и сестру, в хороший пансион. Я почел своим долгом явиться к синьору Гримани, дабы уверить его в своей полной готовности исполнить любое приказание.

За дом было уплачено до конца года, но, зная, что у меня скоро не будет своего жилища, а вся мебель пойдет с молотка, я решил не стеснять себя излишней экономией. Постельное белье, а также фарфор и ковры я уже продал и теперь набросился на зеркала, кровати и прочее. Я нисколько не сомневался в том, что это будет расценено самым неблагоприятным для меня образом, но дело касалось наследства моего отца, на которое мать не имела никаких прав. А что до моих братьев, то у нас в будущем оставалось достаточно времени для объяснений.

Через четыре месяца от матушки пришло второе письмо. Оно было помечено варшавским штемпелем и содержало в себе еще один конверт. Вот что я прочел:

«Здесь, мой дорогой сын, я свела знакомство с одним ученым францисканцем из Калабрии, выдающиеся качества которого заставляют меня вспоминать о вас всякий раз, когда я имею честь принимать его. Еще год назад я говорила ему, что у меня есть сын, предназначающий себя для церкви, но моих средств для этого недостаточно. Он ответствовал, что таковой сын станет и его собственным, если я смогу добыть для него у королевы место епископа.

Исполненная веры в Божественное Провидение, я бросилась к ногам ее величества, королева соблаговолила написать своей дочери, королеве Неаполитанской, и сей достойный прелат был назначен папой на епископство в Марторано. Как и обещано, он возьмет вас, мой сын, с собою, когда будет проезжать через Венецию в середине будущего года. Он пишет вам об этом сам в приложенном мною письме. Незамедлительно ответьте ему и адресуйте ваше письмо мне. Он поможет вам достичь самых высших церковных степеней, и вообразите себе мое удовольствие, когда через двадцать или тридцать лет я буду иметь счастие видеть вас не меньше чем епископом! А в ожидании его прибытия обо всем позаботится аббат Гримани. Благословляю вас».

Письмо епископа было написано на латыни и повторяло то, о чем сообщала матушка, с добавлением, что он задержится в Венеции не долее трех дней.

Эти два послания вскружили мне голову. Прощай, Венеция! Уверенный в том, что впереди меня ждет блестящее будущее, я не испытывал ни малейших сожалений по поводу покидаемого отечества. Надобно отбросить суету, говорил я себе, и отдаться великому и основательному. Синьор Гримани расхваливал такой выбор и заверял, что не пожалеет сил, дабы найти для меня хороший пансион, где я мог бы дожидаться прибытия епископа.

Синьор Малипьеро также полагал, что в Венеции, ведя рассеянный образ жизни, я буду лишь попусту терять драгоценное время. Тогда же он дал мне совет, который я запомнил на всю жизнь. «Знаменитое правило стоиков “Доверься Богу”, – сказал он, – можно с абсолютной точностью истолковать следующим образом: отдавайся тому, что приготовила для тебя судьба, если не испытываешь к сему неодолимого отвращения».

В этом и состояла наука синьора Малипьеро, ибо он был истинным ученым, хоть и штудировал лишь книгу нравственной природы человека. Впрочем, скоро случилось одно происшествие, показавшее несовершенство всего сущего и стоившее мне его расположения.

Сенатор почитал себя великим знатоком физиогномики, и когда ему казалось, что он видит на лице юноши знаки особого предназначения, то он полагал своим долгом наставить избранника на путь истинный.

В мое время при нем состояло трое любимцев, для образования которых он делал все возможное. Кроме меня, это были: уже известная читателю Тереза Имер и дочь гондольера Гардела, лицо которой выделялось поразительной красотой. Проницательный старик учил ее танцам и любил говорить по этому поводу, что шар никогда не попадет в лузу, если его не подтолкнуть. Впоследствии сия юная особа под именем Августы блистала при штутгартском дворе и в 1757 году была первой любовницей герцога Вюртембергского. Последний раз я видел ее в Вене, где она и умерла два года назад. Муж ее, Микель Агата, вскоре после этого отравился.

Однажды сенатор пригласил нас всех троих к обеду и по окончании трапезы пошел, как обычно, отдохнуть. Маленькая Гардела, которая была тремя годами младше меня, отправилась на урок, и мы остались с Терезой одни. Я был очень доволен этим, хотя до сих пор еще не пытался любезничать с нею. Мы сидели близко друг от друга, спиной к дверям, и, не помню уж по какому поводу, нам понадобилось удостовериться в несходстве нашего телосложения. Однако же в самый интересный момент сильнейший удар тростью, а за ним и второй, принудил нас оставить сие занятие недоконченным, а я, во избежание дальнейших неприятностей, обратился в бегство, бросив плащ и шляпу. Через четверть часа оба эти предмета были принесены престарелой экономкой сенатора вместе с запиской, в которой мне запрещалось и близко подходить к дворцу его превосходительства. Я тут же написал ответ: «Вы ударили меня под

влиянием раздражения и поэтому не можете сказать, что преподали мне урок. Я смогу простить вас, лишь забыв, что вы умный человек, а забыть это невозможно».

Я думаю, вельможа был прав в своем возмущении представившимся ему зрелищем, но поступил он весьма неосторожно, так как слуги легко догадались о причине моего изгнания и весь город смеялся над этой историей. Конечно, он не осмелился ни в чем упрекнуть Терезу, однако она не пыталась просить о моем помиловании.

Синьор Гримани объявил мне о прибытии епископа, который остановился в монастыре францисканцев Сан-Франческо-де-Паоло. Аббат решил сам представить меня как своего любимого воспитанника, словно кроме него обо мне некому было позаботиться.

Я увидел перед собой красивого монаха с епископским крестом, доставшимся ему в тридцать четыре года по милости Бога, Святейшего Престола и моей матушки. Стоя на коленях, я получил благословение и поцеловал его руку. После этого он обнял меня и назвал на латыни своим дорогим сыном.

В дальнейшем мы говорили только на этом языке, и я сначала подумал, что, будучи калабрийцем, он стыдится говорить по-итальянски. Однако же, обратившись к аббату Гримани, епископ опроверг мои подозрения. Он сказал, что не может сейчас взять меня и я должен ехать в Рим один, а его адрес получу в Анконе от францисканского монаха Лазари, который также снабдит меня деньгами для путешествия. «Из Рима мы уже вместе поедем через Неаполь в Марторано, – продолжал епископ. – Завтра приходите ко мне пораньше, и после мессы мы разделим утреннюю трапезу».

На следующий день я пришел к епископу с восходом солнца. После мессы и шоколада он три часа подряд наставлял меня в катехизисе. Я понял, что совсем не понравился ему, но сам был им доволен, ибо надеялся, что он откроет мне путь к высшим церковным степеням.

По отъезде доброго епископа синьор Гримани отдал мне оставленное им письмо, которое я должен был вручить в Анконе отцу Лазари. Синьор Гримани также сказал, что отправит меня с венецианским послом, каковой отбывает в ближайшее время, и поэтому я должен собраться как можно скорее.

Накануне отъезда синьор Гримани отсчитал мне десять цехинов, которых, по его мнению, было вполне достаточно, чтобы прожить положенное для карантина время в Анконе, после чего вообще не предполагалась какая-либо надобность в деньгах. Впрочем, ему было неизвестно истинное состояние моего кошелька, а лежавшие в нем сорок новеньких цехинов давали мне некоторую уверенность. Я уехал, исполненный радости и не чувствуя никаких сожалений.

Из Неаполя в Рим

С той минуты, когда я сошел на берег в Кьодже, судьба, казалось, решила испытывать меня. Но в Неаполе она улыбнулась мне и уже не оставляла без своего покровительства. Как видно из дальнейшего, Неаполь всегда был для меня благоприятен.

Я не остался неблагодарным доброму марторанскому епископу. Если он неумышленно и причинил мне зло, то его письмо к дону Дженнаро явилось источником всех моих последующих благ. Из Рима я написал ему.

Пока мы ехали по красивой Толедской улице, я был занят тем, что осушал слезы, и только при выезде из города обратил внимание на лица моих спутников. Рядом со мной сидел мужчина лет сорока-пятидесяти, приятной внешности и с некоторой живостью в глазах; зато напротив мой взор остановился на двух очаровательных лицах. Это были молодые и красивые дамы, очень тщательно одетые, с выражением одновременно и скромным, и открытым. Хотя подобное соседство было мне крайне приятно, на душе у меня оставалась тяжесть и я испытывал потребность в молчании.

До самого Аверзе никто не произнес ни слова, лишь кучер сказал, что ненадолго остановится там напоить мулов, и за краткостью сего времени мы даже не выходили из кареты. От Аверзе до Капуи мои спутники беседовали почти без передышки, а я – невероятное явление – ни разу не открыл рот. С удовольствием я слушал неаполитанский жаргон моего соседа и приятный говор обеих дам, которые оказались римлянками. Для меня было истинным подвигом провести пять часов в обществе двух очаровательных женщин и не сказать им хотя бы самого тривиального комплимента.

Приехав в Капую, где нам предстояло провести ночь, мы остановились на постоялом дворе. Нас поместили в комнате с двумя кроватями, как зачастую принято в Италии. Неаполитанец обратился ко мне: «Значит, я буду иметь честь спать с синьором аббатом». Сохраняя совершенно серьезное выражение, я ответил, что он может выбирать по своему желанию, даже если хочет распорядиться и по-иному. Одна из дам, как раз та, которая мне особенно понравилась, улыбнулась, и я счел это добрым предзнаменованием.

За ужином нас было пятеро, потому что, согласно обычаю, возница кормит своих путешественников и садится вместе с ними за стол. В поверхностном, как свойственно столь обыденным обстоятельствам, разговоре сохранялись благопристойность, остроумие и хороший тон. Любопытство мое возбудилось. После ужина я вышел и, найдя нашего возчика, спросил, кто такие мои спутники. «Этот синьор – адвокат, – отвечал он, – а одна из дам, не знаю, какая именно, – его супруга».

Возвратившись после этого в комнату, я из вежливости лег первым, чтобы дамы могли без стеснения разоблачиться, а утром встал прежде всех и не возвращался до тех пор, пока меня не позвали к завтраку. Нам подали отменный кофе, который я изо всех сил расхваливал, на что более привлекательная из дам обещала такой же в продолжение всего путешествия. После завтрака явился цирюльник, и адвокат стал бриться; закончив с ним, нахал предложил мне свои услуги, однако я отказался. Он пробормотал, что носить бороду неопрятно, и удалился.

Когда мы разместились в экипаже, неаполитанец заметил, что все цирюльники отличаются наглостью.

– Надо еще доказать, – заметила красавица, – действительно ли носить бороду нечистоплотно. Я думаю, этот цирюльник просто глуп.

– И к тому же, – сказал я, – разве у меня есть борода?

– По-моему, да, – ответила она.

– Дорогая жена, – сказал адвокат, – тебе лучше помолчать. Возможно, синьор аббат направляется в Рим, чтобы стать капуцином.

Его острота заставила меня рассмеяться, и я парировал тем, что у меня пропало такое желание при виде его супруги.

– О! Вы ошибаетесь, моя жена, наоборот, обожает капуцинов, и чтобы понравиться ей, вы должны изменить свои намерения.

Сии фривольные предметы повлекли за собой всякие другие. Так за приятной беседой мы провели весь день. Вечером остроумный и непринужденный разговор послужил нам возмещением отвратительного ужина, поданного в Гарильяно. Зародившееся во мне чувство усиливалось благодаря сердечности той, которая пробудила его.

На следующий день, как только мы разместились в экипаже, милая дама, обратившись ко мне, спросила, намереваюсь ли я задержаться в Риме до возвращения в Венецию. Я ответил, что, не имея никаких знакомств, опасаюсь остаться там в тоскливом одиночестве.

– У нас любят иностранцев, – возразила она. – Я не сомневаюсь, вы произведете отличное впечатление.

– В таком случае, мадам, надеюсь, вы позволите мне засвидетельствовать вам мое почтение.

– Вы окажете нам честь, – ответил за нее адвокат.

Я не сводил глаз с его очаровательной жены – она покраснела, но, казалось, не замечала моего пристального взгляда и продолжала беседу. День прошел не менее приятно, чем предыдущий. Мы остановились в Террачине, где нас поместили в комнате с тремя кроватями, двумя узкими и одной большой, стоявшей посредине. Естественно, что сестры должны были спать вместе и поэтому заняли широкую кровать. Они улеглись, пока мы с адвокатом беседовали, сидя к ним спиной.

Адвокат нашел свою постель по приготовленному уже ночному колпаку. Оставшаяся для меня стояла не далее одного фута от большой, я заметил, что предмет моих вожделений оказался с моей стороны, и без всякого самодовольства счел этот факт плодом не только чистой случайности.

Я потушил свет и лег, перебирая в голове мысли, в которых не смел признаться даже самому себе и которые тем не менее никак не мог отогнать. Напрасно призывал я сон. Едва различимый свет, позволявший видеть постель этой очаровательной женщины, не давал мне сомкнуть глаз. Кто знает, на что бы я решился в конце концов (я боролся с собой уже целый час), если бы не увидел вдруг, как она села на постели, осторожно спустила ноги, обошла кровать с другой стороны и легла к своему мужу, который, по всей видимости, продолжал мирно спать, потому что не было слышно никаких шорохов.

С чувством досады и отвращения призывал я к себе Морфея, а проснувшись на рассвете, увидел прекрасную непоседу на своем месте. Я встал и, поспешно одевшись, вышел, оставив всех погруженными в глубокий сон. Возвратился я только к самому отъезду. Адвокат и обе дамы уже ждали меня в экипаже.

Красавица моя томным голосом посетовала, что на сей раз я не отведал ее кофе. В ответ я лишь упомянул о пользе утренних прогулок и старательно избегал ее взгляда. Сделав вид, что у меня болят зубы, я погрузился в молчание.

Когда мы проезжали Пиперно, она нашла предлог, чтобы назвать мое недомогание притворным, и упрек был мне приятен, поскольку давал надежду на объяснение, к чему, несмотря на досаду, я столь стремился.

Всю вторую половину дня я продолжал молчать, и так до самой Сермонеты, где нам предстояло провести ночь. Мы приехали очень рано, день был превосходный, и синьора заявила, что охотно совершит небольшую прогулку. При этом она любезно попросила меня составить ей компанию. Я, естественно, согласился, тем более что хороший тон и не допускал отказа.

Муж следовал за нами вместе с ее сестрой, но в достаточном отдалении. Как только мы отошли от них, я осмелился спросить, почему она решила, что моя зубная боль притворна.

– Откровенно говоря, – ответила она, – из-за того, как вдруг вы совершенно переменились ко мне и как старались ни разу за весь день не взглянуть на меня. Зубная боль не может помешать учтивому обращению, и оставалось только предположить, что она вымышлена. Однако же никто из нас не мог дать вам повод к столь внезапной перемене.

– И все же, мадам, должна быть какая-то причина, и вы искренни только наполовину.

– Ошибаетесь, сударь, я вполне откровенна, а если дала вам повод, то совершенно неумышленно. Сделайте милость, объясните, чем я вас обидела.

– Вовсе ничем. У меня ведь нет никакого права заявлять претензии.

– Но ваши права одинаковы с моими. В конце концов, вы пользуетесь теми же привилегиями, что и любой член добропорядочного общества. Говорите так же откровенно, как и я.

– Вы не знаете о причине или, вернее, делаете вид, что не знаете. Но, согласитесь, мой долг не позволяет говорить о ней.

– Прекрасно. Наконец-то все сказано. Однако если долг обязывает вас умолчать о причине вашей перемены, он в равной мере повелевает и не проявлять своих чувств. Деликатность требует иногда от воспитанного человека скрывать свои переживания. Конечно, это не всегда приятно, но зато, несомненно, всегда более достойно.

Мудрое сие рассуждение заставило меня покраснеть от стыда, и, признавая собственную вину, я поцеловал ее прекрасную руку.

– Я на коленях умолял бы простить меня, если бы не боялся скомпрометировать вас.

– Забудем это, – ответила она, и взгляд ее выражал совершенное прощение.

Опьяненный счастьем, вознесся я от печали к радости столь быстро, что за ужином адвокат отпускал бесчисленные остроты по поводу моих зубов и исцелившей меня прогулки.

На следующий день мы обедали в Веллетри, откуда отправились заночевать в Марино. Там, несмотря на большое скопление войск, нас поместили в двух маленьких комнатах и подали пристойный ужин.

Хотя полученное мною доказательство и было мимолетным, но зато сколь нежным и искренним! В экипаже наши глаза говорили не о многом, однако язык достигал вершин красноречия.

Адвокат рассказывал мне, что едет в Рим по делам духовенства и остановится там у своей тещи, встречи с которой нетерпеливо дожидается его супруга, не видавшая свою матушку уже два года, с тех пор как вышла замуж. Сестра ее предполагала остаться в Риме и стать женой служащего из банка Святого Духа. Записав их адрес и получив приглашение, я обещал посвятить им все свободное от дел время.

За ужином красавица расхваливала мою табакерку и заявила мужу, что очень хотела бы иметь нечто подобное.

– Я куплю тебе точно такую же, моя дорогая, – ответил адвокат.

– Приобретите именно эту, – вступил я в разговор. – Я согласен отдать ее за двадцать унций, и вы заплатите их предъявителю написанного вашей рукой билета. Я должен эту сумму одному англичанину, и мне было бы весьма удобно расплатиться с ним таким образом.

– Ваша табакерка, синьор аббат, безусловно, стоит двадцать унций, но я согласен купить ее только за наличные. Если вы не возражаете против этого, мне будет очень приятно видеть ее в руках моей жены, для которой она послужит памятью о знакомстве с вами.

Жена его, догадавшись о моем несогласии с таковым предложением, спросила, почему бы и не написать нужный билет.

– Ах! – возразил адвокат. – Разве ты не понимаешь, что сей англичанин – чистая фантазия! Мы никогда не увидим его, а табакерка останется у нас. Моя дорогая, остерегайся этого аббата, он величайший плут.

– Никогда бы не подумала, что на свете существуют такие мошенники, – сказала она, посмотрев в мою сторону.

Когда человек влюблен, каждый пустяк приводит его в отчаяние или же, наоборот, возносит на вершину счастья. В комнате, где мы ужинали, стояла только одна кровать, и еще одна – в небольшом соседнем кабинете, где не было даже двери. Дамы выбрали, конечно, кабинет, а мы с адвокатом должны были спать вместе, и он улегся первым. Как только сестры тоже легли, я пожелал им доброй ночи и, посмотрев на моего ангела, твердо решил не спать всю ночь. Легко представить мое негодование, когда, забираясь на кровать, я услышал скрип половиц, причем столь громкий, что даже мертвый – и тот проснулся бы. Недвижимый, я ждал, пока заснет мой попутчик. Когда некий звук возвестил, что он целиком перешел во власть Морфея, я попытался соскользнуть на пол с нижнего конца кровати. Скрип даже от такого малейшего движения разбудил его, и он протянул ко мне руку. Убедившись, что я на месте, адвокат опять заснул. Еще через полчаса – новая попытка и те же препоны, так что я уже в отчаянии отказался от своих намерений.

Амур – самый коварный из богов, это само непостоянство. Когда все кажется потерянным, этот ясновидящий слепец готовит нам полный успех.

Я уже начал засыпать, отчаявшись добиться чего-нибудь, когда внезапно раздался ужасающий грохот. С улицы неслись выстрелы и душераздирающие крики. По лестницам вверх и вниз забегали какие-то люди. Наконец они добрались до нашей двери и принялись стучать со страшной силой. Насмерть испуганный адвокат спросил, что бы это могло быть. Притворившись безразличным, я отговорился незнанием и просил не мешать мне спать. Однако оцепеневшие дамы умоляли нас зажечь свет. Я не спешил вставать, тогда за свечами отправился адвокат. Тут поднялся и я и, закрывая за ним дверь, нажал на нее с излишней силой. Замок защелкнулся, а мы остались без ключа.

Подойдя к дамам, чтобы успокоить их, я сказал, что когда адвокат вернется, мы узнаем о причине всеобщего смятения, однако пока я решил не терять времени понапрасну и позволил себе все доступные вольности, поощряемый к тому слабостью сопротивления. Несмотря на предосторожности, я все-таки несколько неумеренно опирался на мою красавицу: кровать провалилась, и мы все трое оказались на полу. Тем временем адвокат вернулся и стал стучать в дверь; сестра встала, я уступил мольбам моей прелестной римлянки и на цыпочках подошел к двери, намереваясь сообщить адвокату, что у нас нет ключа и мы не можем впустить его. Обе сестры остановились позади меня, я протянул руку, но почувствовал, как ее решительно отталкивают, и понял, что это сестра, тогда я обратился в другую сторону, уже с большим успехом. Звук поворачивающейся ручки предупредил нас, что дверь сейчас откроется, и, как ни печально, мы были вынуждены возвратиться в свои постели.

Едва дверь растворилась, адвокат поспешил к испуганным бедняжкам, желая успокоить их, но, увидев провалившееся ложе, непроизвольно расхохотался. Он позвал меня взглянуть, однако излишняя скромность помешала мне. Затем он рассказал, что тревога поднялась, когда отряд немцев напал на испанских солдат, расквартированных неподалеку отсюда. А через четверть часа уже не слышно было ни звука и восстановилось полнейшее спокойствие.

Похвалив мою невозмутимость, адвокат улегся в постель и вскоре заснул. Но я уже не смыкал глаз, и едва забрезжил день, поднялся, чтобы совершить омовения и переменить белье – это было совершенно необходимо.

Я вышел к завтраку и, пока мы пили кофе, сваренный в этот день донной Лукрецией еще лучше, чем обычно, приметил, что сестра ее обижена на меня. Но сколь слабым было впечатление этого неудовольствия по сравнению с тем восторгом, который возбуждало во всем моем существе радостное лицо и благодарные глаза моей очаровательной Лукреции!

В Рим мы прибыли очень рано и остановились завтракать в «Башне». Адвокат пребывал в прекрасном расположении духа, я последовал его примеру и расточал тысячи комплимен-

тов, среди которых предсказывал ему рождение сына, шутками вытянув из супруга обещание исполнить это пророчество. Не забыл я и сестру моей обожаемой Лукреции и, чтобы расположить ее в свою пользу, наговорил ей бесчисленное множество приятностей и выказал столь дружескую в ней заинтересованность, что она была вынуждена простить мне падение кровати. Расставаясь, я обещал явиться к ним с визитом на следующий же день.

И вот я в Риме, пристойно одетый, с достаточным запасом звонкой монеты, украшенный драгоценностями и безделушками, имея уже некоторый опыт, а также рекомендательные письма. Я был абсолютно свободен, и годы позволяли мне надеяться на благосклонность фортуны – благодаря некоторой смелости и располагающему лицу.

Я обладал не красотой, но чем-то значительно лучшим – неким загадочным свойством, которое возбуждает в людях доброжелательность, и к тому же был готов на все.

Я знал, что Рим – это единственный город, где человек, начав с пустого места, может достичь всего. Эта мысль поднимала мой дух и, должен признаться, необузданное самомнение, бороться с которым мешала мне неопытность, что во много раз преумножало мои надежды.

Человек, решивший сделать карьеру в древней столице мира, должен быть хамелеоном, способным отражать все цвета окружающей атмосферы, истинным сыном Посейдона Протеем, готовым принять любое обличье. Он должен обладать изворотливостью, вкрадчивостью, быть скрытным, порой способным к низостям, и в то же время должен оставаться вероломно-искренним, притворяясь, что знает много меньше, чем на самом деле. Он должен говорить всегда одинаково ровным тоном и в совершенстве владеть своим лицом, оставаясь холодным, словно лед, в те минуты, когда другой на его месте уже сгорал бы в огне. Если подобный образ жизни кажется ему отталкивающим, он должен покинуть Рим и искать удачи в другом месте. Не знаю, в укор себе или в похвалу, но могу сказать, что изо всех перечисленных качеств я обладал только услужливостью. В остальном я был всего лишь интересным повесой, породистым скакуном, совсем не дрессированным или, вернее, плохо объезженным, что, впрочем, еще хуже.

Вечером я ужинал за табльдотом в обществе римлян и иностранцев, скрупулезно следуя всему, что предписал мне аббат Джорджи. Там много плохого говорили о папе и министре-кардинале, по вине которого церковное государство наводнено двадцатью четырьмя тысячами немцев и испанцев. Но более всего поразило меня то, что, невзирая на пятницу, ели скоромное.

Впрочем, пробыв в Риме всего несколько дней, начинаешь многому удивляться, но очень быстро привыкаешь ко всему. Ни в одном другом католическом городе люди не чувствуют себя столь непринужденно в отношении религиозных дел. Жизнь здесь совершенно свободна, хотя приказы его святейшества вызывают не меньший страх, чем знаменитые указы французского короля о заключении в Бастилию без суда и следствия.

Я попадаю под арест

В этой главе соединяются два путешествия Казановы на Восток – в 1741-м и 1744–1745 годах.

Глупая служанка много опасней, нежели скверная, и для хозяина обременительней, ибо скверную можно наказать, и поделом, а глупую нельзя: такую надобно прогнать, а впредь быть умнее. Моя, например, извела на обертки три тетради, в которых я подробнейшим образом описывал все то, что собираюсь изложить здесь. В свое оправдание она сказала, что бумага была испачканная и исписанная, даже с помарками, а потому она решила, что лучше употребить в хозяйстве ее, а не чистые и белые листы с моего стола. Если б я хорошенько подумал, то не рассердился бы; но гнев первым делом как раз и лишает разум способности думать. Хорошо, что гневаюсь я весьма недолго – ибо, как известно, irasci celerem tamen ut placabilis essem[6]. Я зря потерял время, осыпая ее бранью и со всей очевидностью доказывая, что она дура; она же не отвечала ни слова, и доводы мои пропали впустую.

Я решился переписать снова – в дурном расположении духа, а стало быть, очень скверно – все, что в добром расположении написал, должно быть, довольно хорошо; но пусть читатель мой утешится: он, как в механике, потратив более силы, выиграет во времени.

Итак, сойдя в Орсаре в ожидании, пока в недра нашего корабля погрузят балласт, я заметил человека, который, остановившись, весьма внимательно и с приветливым видом меня разглядывал. Уверенный, что то не мог быть кредитор, я решил, что его внимание привлекла моя наружность, и, не найдя в том ничего дурного, пошел было прочь, как вдруг он приблизился ко мне.

– Осмелюсь ли спросить, мой капитан, впервые ли вы оказались в этом городе?

– Нет, сударь. Однажды мне уже случалось здесь бывать.

– Не в прошлом ли году?

– Именно так.

– Но тогда на вас не было военной формы?

– Опять вы правы; однако любопытство ваше, я полагаю, несколько нескромно.

– Вы должны простить меня, сударь, ибо любопытство мое рождено благодарностью. Вы человек, которому я в величайшей степени обязан, и мне остается верить, что Господь снова привел вас в этот город, дабы обязательства мои перед вами еще умножились.

– Что же такого я для вас сделал и что могу сделать? Не в силах взять в толк.

– Соблаговолите позавтракать со мною в моем доме – вон его открытая дверь. Отведайте моего доброго вина рефоско, выслушайте мой короткий рассказ и убедитесь, что вы воистину мой благодетель, а ныне я вправе надеяться на то, что вернулись вы сюда, дабы возобновить свои благодеяния.

Человек этот не показался мне сумасшедшим, и я, вообразив, что он хочет склонить меня купить у него вина, согласился отправиться к нему домой. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в комнату; оставив меня, он идет распорядиться об обещанном прекрасном завтраке. Кругом я вижу лекарские инструменты и, сочтя хозяина лекарем, спрашиваю его об этом, когда он возвращается.

– Да, мой капитан, – отвечал он, – я лекарь. Вот уже двадцать лет живу в этом городе. До недавних пор я все время бедствовал, ибо ремесло свое употреблял лишь на то, чтобы пустить кровь, поставить банки, залечить какую-нибудь царапину либо вправить на место вывихнутую ногу. Заработать на жизнь я не мог; но с прошлого года положение мое, можно сказать, пере-

[6] Гневаться скорый, однако легко умиряться способный(Гораций. Послания. Кн. 1, 20, 25. Пер. Н. С. Гинцбурга).

менилось: я заработал много денег, с выгодою пустил их в дело – и не кто иной, как вы, благослови вас Господь, принесли мне удачу.

– Каким образом?

– Вот, коротко, как все случилось. Вы наградили известной хворью экономку дона Иеронима, которая подарила ее своему дружку, который, как подобает, поделился ею с женой. Жена его, в свой черед, подарила ее одному распутнику, который так славно ею распорядился, что не прошло и месяца, как под моим владычеством было уже с полсотни клиентов; в последующие месяцы к ним прибавились новые, и всех я вылечил – конечно же, за хорошую плату. Несколько больных у меня еще осталось, но через месяц не будет и их, ибо болезнь исчезла. Увидев вас, я не мог не возрадоваться. В моих глазах вы стали добрым вестником. Могу ли я надеяться, что вы пробудете здесь несколько дней, чтобы болезнь возобновилась?

Посмеявшись вдоволь, я сказал ему, что нахожусь в добром здравии. Он заметно огорчился и предупредил, что по возвращении я не смогу похвастаться тем же, ибо страна, куда я направляюсь, богата дурным товаром, от которого никто так не умеет избавить, как он. Он просил рассчитывать на него и не верить шарлатанам, которые станут предлагать свои лекарства. Я пообещал ему все, что он хотел, поблагодарил и вернулся на корабль.

Я рассказал эту историю господину Дольфину, и он смеялся до упаду. Назавтра мы подняли парус, а спустя четыре дня претерпели за Курцолой жестокую бурю. Буря эта едва не стоила мне жизни, и вот каким образом.

Служил на корабле нашем капелланом священник-славянин, большой невежда, наглец и грубиян, над которым я по всякому поводу насмехался и который питал ко мне справедливую неприязнь. В самый разгар бури он расположился на палубе с требником в руках и пустился заклинать чертей, которые виделись ему в облаках; он их показывал всем матросам, а те, решив, что от погибели не уйти, плакали и в отчаянии забывали совершать маневры, необходимые, чтобы уберечь корабль от скал. Я же, видя со всей очевидностью зло и пагубное действие, какое оказывали заклинания этого священника на отчаявшуюся команду, весьма неосторожно решил, что мне надобно вмешаться. Вскарабкавшись на ванты, я стал побуждать матросов неустанно трудиться, объясняя, что никаких чертей нет, а священник, их показывающий, – безумец; однако сила моего красноречия не помешала священнику объявить меня безбожником и восстановить против меня большую часть команды.

Назавтра и на третий день ветер не унимался, и тогда этот бесноватый внушил матросам, что покуда я остаюсь на корабле, буре не будет конца. Один из них приметил меня стоящим спиной у борта и, полагая, что настал благоприятный момент, ударом каната толкнул меня так, что я непременно должен был упасть в море. Так и случилось. Помешала мне упасть лапа якоря, зацепившаяся за одежду. Мне пришли на помощь, я был спасен. Один капрал указал мне матроса-убийцу, и я, схватив жезл, стал бить его смертным боем; прибежали другие матросы со священником, и я бы пропал, если бы меня не защитили солдаты. Явились капитан корабля и господин Дольфин и, выслушав священника, вынуждены были, чтобы утихомирить чернь, пообещать высадить меня на берег, как только представится случай; но священник потребовал, чтобы я доставил ему пергамент, купленный у одного грека в Маламокко перед самым отплытием. Я уже и позабыл о нем – но так все и было. Рассмеявшись, я сразу же отдал пергамент господину Дольфину, а тот передал его священнику, который, торжествуя победу, велел принести жаровню и швырнул его на раскаленные угли. Прежде чем обратиться в пепел, пергамент этот в продолжение получаса корчился в судорогах, и сей феномен утвердил матросов в мысли, что тарабарщина на нем – от дьявола. Пергамент этот якобы имел свойство внушать всем женщинам любовь к своему владельцу.

Надеюсь, читатель будет столь добр и поверит, что я нимало не полагался ни на какие приворотные зелья и купил пергамент за пол-экю только для смеха. По всей Италии и по всей Греции, древней и новой, попадаются греки, иудеи и астрологи, которые сбывают простофилям

бумаги, наделенные волшебными свойствами; среди прочего – чары, чтобы сделаться неуязвимым, и мешочки со всякой дрянью, содержимое которых они именуют домовым. Весь этот товар не имеет никакого хождения в Германии, во Франции, в Англии и вообще на севере; но зато в странах этих впадают в иного рода обман, много более важный. Здесь ищут философский камень – и не теряют надежды.

Непогода улеглась как раз в те полчаса, что заняло сожжение моего пергамента, и заговорщики более не помышляли избавиться от моей особы. Через неделю весьма удачного плавания мы прибыли на Корфу. Отлично устроившись, отнес я свои рекомендательные письма его превосходительству генерал-проведитору, который в мирное время командовал морскими силами республики, а после – всем морским офицерам, к кому получил рекомендации. Засвидетельствовав свое почтение полковнику и всем офицерам полка, я уже не помышлял ни о чем, кроме развлечений, до самого прибытия кавалера Венье, который должен был ехать в Константинополь и взять меня с собою. Прибыл он к середине июня, и до того времени я, пристрастившись к игре в бассет, проиграл все свои деньги и продал либо заложил драгоценности. Такова участь всякого, кто склонен к азартным играм, – разве только он одолеет себя и сумеет играть счастливо, обеспечив себе преимущество расчетом или умением. Разумный игрок может пользоваться и тем и другим, не пятная себя жульничеством.

Весь месяц, проведенный на Корфу, я не изучал ни местной природы, ни местных нравов. Если не нужно было идти в караул, я дни напролет проводил в кофейне, ожесточенно сражаясь в фараон и, конечно же, усугубляя беду, которую упорно стремился презреть. Ни разу не вернулся я домой с выигрышем, и ни разу не достало у меня силы бросить игру, пока оставались еще векселя. Я получал одно лишь дурацкое удовлетворение: всякий раз, как бывала бита решающая моя карта, сам банкомет называл меня «отличным игроком».

Пребывая в столь прискорбном положении, я, казалось, воскрес, когда выстрелы пушек возвестили о прибытии балио, венецианского посланника в Константинополе. Он приплыл на «Европе» – военном корабле с семьюдесятью двумя пушками на борту, одолевшем путь из Венеции всего за неделю. Едва бросив якорь, он поднял флаг командующего морскими силами Республики, а генерал-проведитор свой флаг приспустил. В Венецианской республике нет морского чина выше балио в Оттоманской Порте. Свита у кавалера Венье была изысканная. Удовлетворяя свое любопытство, его сопровождали в путешествии Аннибале Гамбера и Карло Дзенобио, оба – венецианские графы, и маркиз д'Аркетти, дворянин из Бреши.

Всю неделю, что балио и его кортеж провели на Корфу, морские офицеры задавали в их честь званые обеды и балы. Когда я был представлен, его превосходительство сразу сказал, что уже говорил с генерал-проведитором и тот предоставляет мне отпуск на полгода, дабы следовать за ним в Константинополь в адъютантском чине. Получив отпуск, я со скромным своим снаряжением взошел на корабль; назавтра якорь был поднят, и кавалер Венье прибыл на борт в фелюге генерал-проведитора. Мы сразу же поставили парус, и за шесть дней попутный ветер привел нас к острову Цериго, где был брошен якорь, а несколько матросов отправились на берег запастись пресной водой. Желая увидеть Цериго – как говорили, древнюю Китиру – испросил я разрешения сойти тоже. Лучше бы мне было оставаться на борту: я свел дурное знакомство.

Со мною был один капитан, командовавший корабельным гарнизоном. К нам подходят двое подозрительного вида бродяг в лохмотьях и просят на пропитание. Я спрашиваю, кто они такие, и тот, что казался побойчее, отвечает так:

– Тирания Совета Десяти приговорила нас и еще три-четыре десятка других несчастных жить и, быть может, умереть на этом острове; а ведь все мы рождены подданными Республики. Пресловутое преступление наше никоим образом не является таковым – просто мы привыкли жить в обществе своих возлюбленных, не ревнуя тех своих друзей, кто, сочтя их привлекательными, наслаждался с нашего согласия их прелестями. Не обладая богатством, мы не счи-

тали зазорным обращать это к своей выгоде. Промысел наш почли недозволенным и отправили нас сюда, где выдают нам по десять сольдо в день в колониальной монете. Нас называют mangiamarroni[7]. Живем мы хуже каторжников: нас снедает скука и гложет голод. Меня зовут Антонио Поккини, я падуанский дворянин, а моя мать происходит из славного рода Кампо Сан-Пьеро.

Мы подали им милостыню, обошли остров и, осмотрев крепость, вернулись на корабль. Об этом Поккини мы поговорим лет через пятнадцать-шестнадцать.

Ветер дул по-прежнему благоприятный, и через восемь-десять дней мы достигли Дарданелл; подоспевшие турецкие лодки переправили нас в Константинополь. Город этот с расстояния в лье поражает – нет в мире зрелища более захватывающего. Великолепный вид его стал причиной падения Римской империи и начала греческой. Константин Великий, увидав Константинополь с моря, воскликнул, плененный зрелищем: «Вот столица мировой империи!» – и, покинув Рим, сам обосновался здесь. Когда б он прочел предсказание Горация либо поверил в него, ему бы никогда не совершить столь великой глупости. Ведь поэт писал, что Римская империя станет клониться к упадку лишь тогда, когда один из преемников Августа задумает перенести столицу ее к месту своего рождения. Троя не так далеко отстоит от Фракии.

Во дворец Венеции, расположенный в европейском квартале Константинополя Пере, прибыли мы к середине июля. В то время в огромном городе не было чумы – превеликая редкость. Все мы отменно устроились, однако сильная жара склонила обоих балио отправиться в загородный дом, снятый балио Доной, дабы насладиться прохладой. Находился он в Буюдкаре. Первое, что мне было приказано, – это не выходить из дому без ведома балио и без телохранителя-янычара. Я исполнял этот приказ в точности: в те времена русские еще не усмирили дерзкий турецкий народ, но меня заверяли, что ныне любой иностранец может идти, куда пожелает, без малейшей опаски.

Через день по прибытии я велел отвести меня к Осман-паше Караманскому. Так стал называться граф де Бонваль после своего вероотступничества.

Я передал ему рекомендательное письмо, и меня проводили в комнату на первом этаже, обставленную во французском вкусе; я увидал тучного господина в летах, одетого с ног до головы на французский манер. Поднявшись, он со смехом спросил, чем может быть полезен в Константинополе человеку, рекомендованному кардиналом Церкви, которую сам он уже не вправе называть матерью. Вместо ответа я рассказал ему обо всем, что заставило меня просить у кардинала рекомендательного письма в Константинополь; получив же таковое, я счел себя обязанным самым аккуратным образом явиться с ним по назначению. «Иными словами, – перебил он меня, – не будь у вас письма, вы бы и не подумали прийти сюда, и во мне у вас нет никакой нужды».

– Никакой, однако, я весьма счастлив, что теперь, благодаря письму, имею честь познакомиться в лице вашего превосходительства с человеком, о котором говорила, говорит и еще долго будет говорить вся Европа.

Порассуждав о том, сколь счастлив молодой человек, который без всяких забот, не имея никакого предначертания и твердой цели, отдается на волю фортуны, презрев страх и надежду, господин де Бонваль сказал, что письмо кардинала Аквавивы вынуждает его что-нибудь для меня сделать, а потому он хочет познакомить меня с теми тремя-четырьмя из своих друзей-турок, которые того стоят. Он пригласил меня по четвергам у него обедать, обещая присылать янычара, который оградит меня от наглой черни и покажет все, что заслуживает внимания.

В письме кардинала значилось, что я писатель; паша поднялся, говоря, что хочет показать мне свою библиотеку. Я последовал за ним. Через сад мы прошли в комнату с зарешечен-

[7] Сводники, олухи (итальянское выражение XVII–XVIII вв.).

ными шкафами – за проволочными решетками видны были занавеси, за ними, должно быть, помещались книги.

Но как же я смеялся вместе с толстым пашою, когда он открыл запертые на ключ шкафы, и взору моему предстали не книги, но бутыли, полные вина множества сортов!

– Здесь, – сказал он, – и библиотека моя, и сераль, ибо я уже стар и женщины лишь сократили бы мой век, тогда как доброе вино продлит его либо уж, во всяком случае, скрасит.

– Полагаю, ваше превосходительство получили дозволение муфтия?

– Вы ошибаетесь. Турецкий папа наделен отнюдь не той же властью, что ваш: не в его силах разрешать запрещенное Кораном; однако это не помеха, и всякий волен погубить свою душу, если ему нравится. Набожные турки сожалеют о развратниках, но не преследуют их. Здесь нет инквизиции. Тот, кто нарушает заповеди веры, будет, как они полагают, довольно мучиться в иной жизни, чтобы налагать на него наказания на этом свете. Испросил я – и получил без малейших затруднений – дозволения не подвергаться тому, что вы именуете обрезанием, хотя собственно обрезанием это назвать нельзя. В моем возрасте это было бы опасно. Обычно обряд этот соблюдают, однако он не входит в число заповедей.

Я провел у него два часа: он расспрашивал о многих венецианцах, своих друзьях, и особенно о господине Марк-Антонио Дьедо; я отвечал, что все по-прежнему его любят и сожалеют лишь об отступничестве; он возразил, что турком стал таким же, каким прежде был христианином, и Коран знает не лучше, чем дотоле Евангелие.

– Без сомнения, – сказал он, – я умру с покойной душою и буду в свой смертный час много счастливей, чем принц Евгений. Мне надобно было произнести, что Бог есть Аллах, а Магомет есть пророк его. Я это произнес, а думал я так или нет – это турок не заботило. Правда, я ношу тюрбан, ибо вынужден носить мундир моего господина.

Он рассказал, что, не имея иного ремесла, кроме военного, решился поступить на службу к падишаху в чине генерал-лейтенанта, лишь когда понял, что остался вовсе без средств к существованию. «К отъезду моему из Венеции, – сказал он, – суп успел уже съесть мою посуду; и если бы народ еврейский решился поставить меня во главе пятидесятитысячного войска, я бы начал осаду Иерусалима».

Он был красив, разве только чересчур в теле. Вследствие сабельного удара носил над животом серебряную пластину, чтобы поддерживать грыжу. Его сослали было в Азию, но ненадолго, ибо, по его словам, интриги в Турции не столь продолжительны, как в Европе, особенно при венском дворе. Когда я откланялся, он сказал, что с тех пор, как сделался турком, ему еще не доводилось провести двух часов приятнее, нежели в моем обществе, и просил передать от него поклон обоим балио.

Балио Джованни Дона, близко знавший его в Венеции, поручил мне передать ему множество приятнейших слов, а кавалер Венье сожалел, что не может доставить себе наслаждение и познакомиться с ним лично.

Прошел день после этой первой встречи, и наступил четверг, когда он обещал прислать за мною янычара. Слово он сдержал. Янычар, явившись в одиннадцать часов, проводил меня к паше, который на сей раз был одет по-турецки. Гости не замедлили прийти, и все мы, восемь человек, в самом веселом расположении духа уселись за стол. Обед прошел по-французски: французскими были и блюда, и церемониал; дворецкий паши был французом, да и повар тоже – честный отступник. Паша сразу же представил меня всем, однако говорить позволил лишь к концу обеда. Говорили только по-итальянски, и турки, как я приметил, ни разу не произнесли между собою ни единого слова на своем языке. Слева от каждого стояла бутылка, в которой было, должно быть, белое вино или мед, не знаю. Я сидел слева от господина де Бонваля и, как и он, пил великолепное белое бургундское.

Меня расспрашивали о Венеции, но еще больше – о Риме, отчего разговор перешел на религию: но не на учение, а на благопристойный образ жизни и литургические обряды. Один

обходительный турок, которого все называли эфенди, ибо прежде он был министром иностранных дел, сказал, что в Риме у него есть друг, венецианский посланник, и вознес ему хвалу; вторя ему, я отвечал, что посланник вручил мне письмо к одному господину, мусульманину, которого также именовал своим близким другом. Он спросил, как зовут этого господина, и я, забыв имя, вытащил из кармана бумажник, где лежало письмо. Читая адрес, я произнес его имя. Он был до крайности польщен; испросив позволения, он прочел письмо, затем поцеловал подпись и, поднявшись, заключил меня в объятия. Зрелище это доставило величайшее удовольствие господину де Бонвалю и всему обществу. Эфенди, которого звали Исмаил, пригласил меня вместе с Осман-пашой на обед и назначил день.

Однако ж во время этого весьма приятного обеда наибольшее внимание мое привлек не Исмаил, но другой турок. То был красавец лет шестидесяти на вид; на его благородном лице явственно читались мудрость и кротость. (Те же черты представились мне два года спустя на красивом лице сеньора Брагадино, венецианского сенатора, о котором я расскажу, когда придет время.) С величайшим вниманием прислушивался он ко всем моим беседам за столом, но сам не произносил ни слова. Когда человек, которого вы не знаете, но чей облик и манеры привлекают ваш интерес, молчит, находясь в одном с вами обществе, он пробуждает сильное любопытство. Выходя из обеденной залы, я спросил господина де Бонваля, кто это; тот отвечал, что это богатый и мудрый философ, славный своей добродетелью – чистота его нравов равна лишь приверженности вере. Он советовал мне поддержать знакомство с ним, если мне удалось снискать его расположение.

Я с удовольствием выслушал это суждение и после прогулки в тени, когда все вошли в гостиную, убранную по местному обычаю, уселся на софе рядом с Юсуфом Али: именно так звали турка, который привлек мое внимание. Он сразу же предложил мне свою трубку, но я, вежливо отказавшись, взял ту, которую поднес мне слуга господина де Бонваля. Когда находишься в обществе людей курящих, надобно непременно курить самому либо уходить: иначе волей-неволей воображаешь, что вдыхаешь дым из чужих ртов, а мысль эта заключает большую долю истины и вызывает отвращение и протест.

Довольный, что я сел рядом, Юсуф Али поначалу завел со мной разговор, подобный застольному, но главным образом – о причинах, побудивших меня оставить мирное поприще священнослужителя и обратиться к военной службе. Я же, стараясь утолить его любопытство и не предстать в его глазах с дурной стороны, рассказал вкратце всю историю своей жизни, ибо полагал необходимым убедить его в том, что ступил на стезю посланника Божьего не по душевному призванию. Казалось, он был удовлетворен. О призвании он говорил как философ-стоик, и я признал его за фаталиста; у меня хватило ума не возражать открыто против его взглядов, и замечания мои ему понравились, поскольку он оказался в силах их опровергнуть. Быть может, потребность высоко меня ценить возникла из его желания сделать меня достойным своим учеником – ибо не мог же я, девятнадцатилетний и заблудший в ложной вере, стать его учителем. Целый час он расспрашивал меня о моих воззрениях и, выслушав мой катехизис, объявил, что я, по его мнению, рожден для познания истины, так как стремлюсь к ней и не вполне уверен, что сумел ее достигнуть. Он пригласил меня прийти к нему как-нибудь и назвал дни недели, когда я непременно его застану, но предупредил, что прежде чем согласиться доставить ему это удовольствие, мне следует посоветоваться с пашой Османом. Тогда я отвечал, что уже предуведомлен о его нраве – он был очень польщен. Я обещал в назначенный день отобедать у него, и мы расстались.

Обо всем этом я рассказал господину де Бонвалю; весьма довольный, он сказал, что его янычар во дворце венецианских балио будет в полном моем распоряжении.

Я рассказал обоим балио о том, какие свел знакомства в тот день у графа де Бонваля, и они очень обрадовались. А кавалер Венье посоветовал поддерживать подобного рода связи, ибо в стране этой скука наводит на чужестранца не меньший страх, чем чума.

В назначенный день я отправился к Юсуфу с самого раннего утра, но его уже не было дома. Садовник, предупрежденный хозяином, оказывал мне всяческие знаки внимания и два часа с приятностью занимал меня, демонстрируя все красоты хозяйского сада и особенно цветы. Садовник этот был неаполитанец, служивший Юсуфу уже тридцать лет. Поведение его заставило меня предположить в нем образованность и благородство; однако он без обиняков признался, что никогда не учился грамоте, служил матросом, попал в рабство и столь счастлив на службе у Юсуфа, что почел бы наказанием, если б тот отпустил его на свободу. Я избегал спрашивать его о хозяйских делах: любопытство мое было бы посрамлено сдержанностью этого человека.

Прибыл на лошади Юсуф, и после подобающих случаю приветствий мы отправились вдвоем обедать в беседку, откуда видно было море: там мы с удовольствием наслаждались легким ветерком, умерявшим великую жару. Ветерок этот дует каждый день в один и тот же час и зовется мистралем. Мы отлично поели, хотя из приготовленных блюд подан был один кауроман (блюдо из рубленого вареного мяса). Пил я воду и превосходный мед, уверяя хозяина, что он мне больше по вкусу, чем вино: я действительно пил его в то время весьма редко. Расхваливая мед, я сказал, что мусульмане, преступающие закон и пьющие вино, недостойны снисхождения, ибо пьют, должно быть, единственно потому, что оно запрещено; Юсуф заверил, что многие не считают грехом употреблять вино, полагая его лекарством. Пустил в ход это лекарство, по его словам, врач самого падишаха, составивший на этом целое состояние и снискавший безраздельное расположение своего господина, который и вправду все время болел, но лишь оттого, что постоянно был пьян. Юсуф удивился, когда я сказал, что у нас пьяницы весьма редки и порок этот распространен лишь среди простого люда. Он заметил, что не понимает, отчего все остальные религии не запрещают вина, лишающего человека разума, и я отвечал, что все религии запрещают неумеренное его употребление и грехом можно считать лишь неумеренность. Он согласился со мною в том, что вера его должна была бы воспретить и опиум, ибо действует он так же, и много сильнее, и добавил, что ни разу за всю свою жизнь не курил опиума и не пил вина.

После обеда нам принесли трубки и табаку. Набивали трубки мы сами. Я в то время курил, и с удовольствием, однако имел привычку сплевывать. Юсуф же не сплевывал; он сказал, что табак я сейчас курю отменный, с конопляной добавкой, и ему жаль той бальзамической его части, которая, должно быть, содержится в слюне, а посему я зря не глотаю ее, а попросту выбрасываю. Сплевывать, заключил он, подобает лишь тогда, когда куришь дурной табак. Согласившись с его доводами, я отвечал, что трубку и в самом деле можно полагать истинным удовольствием, лишь когда табак в ней всем хорош.

– Конечно, – отозвался он, – отличный табак необходим, чтобы получать от курения удовольствие; но не он главное, ибо удовольствие от хорошего табака – лишь чувственное удовольствие. Истинное наслаждение ничуть не зависит от органов чувств и воздействует на одну только душу.

– Не могу вообразить себе, дорогой Юсуф, какими удовольствиями могла бы наслаждаться душа моя без посредства чувств.

– Так слушай. Получаешь ли ты удовольствие, набивая трубку?

– Да.

– Которому же из чувств отнесешь ты его, если не душе твоей? Пойдем далее. Ты ощущаешь удовлетворение, лишь выкурив ее до конца, не так ли? Ты доволен, когда видишь, что в трубке не осталось ничего, кроме пепла.

– Так оно и есть.

– Вот уже два удовольствия, в которых чувства твои отнюдь не принимают участия; а теперь, прошу тебя, угадай третье, главное.

– Главное? Благовоние табака.

– Отнюдь нет. Это удовольствие обоняния – оно чувственно.

– Тогда не знаю.

– Итак, слушай. Главное удовольствие от курения заключается в самом созерцании дыма. Ты никогда не сможешь увидеть, как он исходит из трубки; но ты видишь, как весь он появляется из угла твоего рта, через равные, не слишком малые промежутки времени. Воистину это удовольствие главное: ведь ты никогда не увидишь слепого, которому нравилось бы курить. Попробуй сам закурить ночью в комнате, где нет огня: ты не успеешь зажечь трубку, как уже отложишь ее.

– Слова твои – истинная правда; но, прости, я полагаю, что многие из удовольствий, влекущих мои чувства, предпочтительнее, нежели те, что влекут к себе одну лишь душу.

– Сорок лет назад я думал так же, как ты. Спустя сорок лет, если удастся тебе обрести мудрость, ты станешь думать так же, как я. Удовольствия, пробуждающие страсти, смущают душу, сын мой, а потому, как ты понимаешь, не могут с полным правом быть названы удовольствиями.

– Но мне кажется, что удовольствию достаточно лишь представать таковым, дабы им быть.

– Согласен, но когда бы ты дал себе труд и поразмыслил над ними, испытав их, то не почел бы их чистыми.

– Быть может, и так; но к чему мне давать себе труд, который послужит лишь к уменьшению испытанного мною удовольствия?

– Придет время, и ты станешь получать удовольствие от самого этого труда.

– Мне представляется, дорогой отец, что юности ты предпочитаешь зрелость.

– Говори смелей – старость.

– Ты удивляешь меня. Должен ли я понимать так, что в юности ты был несчастлив?

– Нимало. Я всегда был здоров и счастлив, никогда не становился жертвой страстей; но наблюдение над сверстниками стало мне доброй школой – я научился понимать людей и обрел путь к счастью. Счастливейший человек не тот, у кого более всего наслаждений, но тот, кто умеет из всех наслаждений выбрать великие; великими же, повторяю тебе, могут быть лишь наслаждения, которые, минуя страсти, умножают покой души.

– Это те наслаждения, что ты называешь чистыми.

– Такую картину являет собой обширный, покрытый травою луг. Зеленый цвет его, восславленный божественным пророком, поражает мой взор, и в этот миг я чувствую, как дух мой погружается в блаженный покой – словно я приближаюсь к творцу всего сущего. Тот же мир ощущаю я, сидя на берегу реки и глядя на стремящийся предо мною поток, не ускользающий от взора и вечно прозрачный в беге своем. Он представляется мне образом моей жизни и того покоя, в каком я желаю ей достигнуть незримого предела в ее устье.

Так рассуждал этот турок. Мы провели вместе четыре часа. От двух прежних жен у него остались двое сыновей и дочь. Старший уже получил свою долю, жил в Салониках и разбогател, занимаясь торговлей. Младший находился на службе у султана, в большом серале, и долей его распоряжался опекун. Пятнадцатилетней дочери, которую он называл Зельми, предстояло после его смерти унаследовать все имущество. Юсуф дал ей самое лучшее воспитание, какого только можно было желать, дабы она могла составить счастье будущего супруга. Скоро мы еще поговорим об этой девушке. Жены его умерли, и пять лет назад он женился в третий раз на юной красавице, уроженке острова Хиос, однако, по его словам, из-за старости уже не надеялся иметь от нее ни сына, ни дочери. Между тем ему минуло всего шестьдесят лет. Прощаясь, я должен был обещать, что стану бывать у него по меньшей мере один раз в неделю.

За ужином я рассказал господам балио, как провел день, и они заключили, что мне отменно повезло, ибо я могу надеяться с приятностью провести три месяца в стране, где сами они, чужеземные посланники, могут лишь умирать от скуки.

По прошествии трех или четырех дней господин де Бонваль отвел меня на обед к Исмаилу, где взору моему предстала картина азиатской роскоши; однако многочисленные гости говорили почти все время по-турецки, и я скучал – равно как и господин де Бонваль. Приметив это, Исмаил, когда мы уходили, просил меня завтракать у него возможно чаще, уверяя, что я доставлю ему истинное удовольствие. Я обещал и дней через десять-двенадцать исполнил свое обещание. В свое время читатель узнает об этом подробно. Теперь же мне надобно вернуться к Юсуфу, нрав которого, открывшийся во второй мой визит, пробудил во мне великое уважение и сильнейшую к нему привязанность.

Обедали мы наедине, как и в прошлый раз, и разговор зашел об изящных искусствах; я высказал свое суждение об одной из заповедей Корана, лишающей подданных Оттоманской Порты столь невинного удовольствия, как наслаждение созданиями живописцев и скульпторов. Он отвечал, что Магомету, как истинному мудрецу, непременно нужно было удалить от глаз мусульман любые изображения.

– Вспомни, что все народы, которым великий наш пророк открыл Бога, были идолопоклонники. Люди слабы: глядя на те же предметы, они с легкостью могли впасть в прежние заблуждения.

– Я полагаю, дорогой отец, что никогда ни один народ не поклонялся изображению, но, напротив, изображенному божеству.

– Мне тоже хотелось бы так думать; но Бог бесплотен, а значит, следует удалить из головы черни мысль, что он может быть зрим. Вы, христиане, единственные верите, будто видите Бога.

– Воистину так, мы в этом уверены; но не забывай, прошу тебя, что уверенность эту дарует нам вера.

– Знаю, но оттого вы не меньшие идолопоклонники, ибо видимое вам – всего лишь материя, а уверенность ваша безраздельна – разве только ты скажешь, что вера умаляет ее.

– Господь сохранит меня от таких слов, ибо, напротив, вера ее укрепляет.

– У нас, хвала Господу, нет нужды в подобной иллюзии, и ни один философ в мире не сумеет доказать мне необходимость ее.

– Вопрос этот, дорогой отец, принадлежит не к философии, но к богословию, которое много ее выше.

– Ты рассуждаешь словно наши богословы, которые, впрочем, отличны от ваших в том, что употребляют свою науку не для сокрытия истин, но для прояснения их.

– Вообрази, дорогой Юсуф, речь идет о таинстве.

– Бытие Бога – уже величайшее таинство, чтобы людям набраться смелости что-либо к нему прибавить. Бог может быть только прост, и именно такого Бога возгласил нам пророк. Согласись, нельзя ничего добавить к сущности его, не нарушив простоты. Мы говорим, что Бог един: вот образ простоты. Вы говорите, что он един, но в то же время тройствен: определение противоречивое, абсурдное и нечестивое.

– Это таинство.

– Бог или определение? Я говорю об определении, а оно не должно быть таинством, разум не должен отвергать его. Здравый смысл, дорогой сын, не может не счесть нелепостью утверждение, сущность которого абсурдна. Докажи, что три не больше единицы или хотя бы может ей равняться, и я немедля перейду в христианство.

– Религия моя велит мне верить, не рассуждая, дорогой Юсуф, и одна мысль о том, что силой рассуждений я, может статься, откажусь от веры моего милого отца, приводит меня в трепет. Сначала я должен убедиться в том, что он заблуждался. Скажи, могу ли я, почитая его память, быть столь самонадеянным, чтобы дерзнуть сделаться ему судьею и вознамериться вынести ему приговор?

Увещевание это, я видел, взволновало честного Юсуфа. Он умолк и минуты через две заметил, что подобный образ мыслей, вне сомнения, делает меня угодным Богу, а значит, его

избранником; но что только Бог и может наставить меня, если я заблуждаюсь, ибо, насколько ему известно, ни один человек не в силах отвергнуть высказанное мною чувство. Мы весело поболтали о других вещах, и к вечеру, получив заверения в бесконечной и чистейшей дружбе, я удалился.

По дороге домой я размышлял о том, что Юсуф, быть может, прав, говоря о сущности Бога, ибо поистине сущее всего сущего не может в основе своей быть ничем иным, как только простейшим из всех существ; однако же вряд ли возможно, чтобы из-за заблуждения христианской религии я дал себя убедить и перешел в турецкую веру, у которой может быть весьма справедливое представление о Боге, но которая смешна мне уже тем, что учением своим обязана величайшему сумасброду и обманщику. Однако Юсуф, казалось мне, и не намерен был меня обращать.

В третий раз за обедом, когда разговор, по обыкновению, зашел о религии, я спросил, уверен ли он, что вера его единственная способна доставить смертному вечное спасение. Он отвечал, что не уверен в единственности ее, но уверен в ложности христианства, ибо оно не может стать всеобщей религией.

– Отчего же?

– Оттого, что две трети планеты нашей не знают ни хлеба, ни вина. Корану же, заметь, можно следовать всюду.

Я не знал, что отвечать, и не стал лукавить. На замечание мое, что Бог невеществен, а значит, есть дух, он сказал, что нам ведомо лишь то, чем он не является, но не то, что он есть, а стало быть, мы не можем утверждать, что он есть дух, ибо имеем о нем лишь самое общее представление.

– Бог, – сказал он, – невеществен: вот все, что нам ведомо, и большего мы никогда не узнаем.

Я вспомнил, что и Платон говорит о том же, а Юсуф, без сомнения, не читал Платона.

В тот же день он сказал, что бытие Бога приносит пользу лишь тем, кто в него верит, а потому безбожники – несчастнейшие из смертных.

– Бог, – говорил он, – создал человека по подобию своему, дабы из всех сотворенных им животных одно способно было воздать хвалу бытию его. Не будь человека, не было бы и свидетеля славы Господней; а потому человек должен понимать, что первейший его долг – верша справедливость, славить Бога и доверяться Провидению. Вспомни: Бог никогда не оставит того, кто в невзгодах простирается перед ним и молит о помощи, и Бог покинет в отчаянии несчастного, полагающего молитву бесполезной.

– Однако счастливые атеисты все же существуют.

– Верно; но, хотя в душах их царит покой, они представляются мне достойными сожаления, ибо ни на что не надеются после земной жизни и не признают своего превосходства над животными. К тому же, будучи философами, они не могут не погрязнуть в невежестве, а не размышляя – не имеют опоры в невзгодах. Наконец, Бог сотворил человека таким, что он не может быть счастлив без уверенности в божественной природе своего бытия. Во всяком сословии неминуемо возникает потребность признать ее – иначе человек никогда бы не признал Бога творцом всего сущего.

– Но объясни мне, отчего атеизм никогда не проявлялся иначе, чем в воззрениях какого-либо ученого, и никогда не становился воззрением целого народа?

– Оттого что бедный разумеет свои нужды много лучше богатого. Среди таких, как мы, немало нечестивцев, что насмехаются над верующими, уповающими на паломничество в Мекку. Несчастные! Им подобает чтить древние памятники, которые, возбуждая благочестие в правоверных и питая их религиозное чувство, укрепляют их в невзгодах. Не будь этого утешения, невежественный народ впал бы в отчаяние и пустился во все тяжкие.

Счастливый вниманием, с которым я слушал его, Юсуф с каждым разом все более предавался своей склонности к наставлению. Я стал приходить к нему на целый день без приглашения, и оттого дружба наша еще окрепла.

Однажды утром я велел проводить себя к Исмаилу-эфенди, чтобы, исполняя данное обещание, позавтракать с ним. Турок встретил и принял меня как нельзя более достойно, но затем пригласил совершить прогулку в небольшом саду, и там в беседке явилась ему фантазия, которая пришлась мне отнюдь не по вкусу; со смехом я отвечал, что не любитель подобных развлечений, и наконец, утомившись его ласковой настойчивостью, не вполне учтиво вскочил. Тогда Исмаил сделал вид, что одобряет мое отвращение, и объявил, что пошутил. Раскланявшись подобающим образом, я удалился в твердом намерении более к нему не приходить; однако пришел еще раз, и в свое время мы об этом поговорим. Я поведал об этом приключении господину де Бонвалю, и тот объяснил, что Исмаил согласно турецким обычаям намеревался доставить мне знак своего величайшего расположения, но я могу не сомневаться – впредь, если мне случится бывать у него, он более не предложит мне ничего подобного, ибо во всем остальном он весьма обходителен и имеет во власти рабов совершенной красоты. Он сказал, что учтивость велит мне не прекращать своих визитов.

Как-то раз Юсуф спросил, женат ли я, и, получив отрицательный ответ, завел разговор о целомудрии, которое, как он полагал, должно считаться добродетелью, лишь когда влечет за собою воздержание; однако оно не может быть угодно Богу и противно ему, ибо нарушает первейшую заповедь, данную творцом человеку.

– Хотел бы я понять, – продолжал он, – что такое целомудрие для ваших рыцарей Мальтийского ордена. Они дают обет целомудрия; это не означает, что они станут вовсе воздерживаться от плотского греха, ведь когда б он воистину считался грехом, всякий христианин отказался бы от него при крещении. Значит, обет заключается единственно в безбрачии. Значит, целомудрие может быть нарушено лишь в браке, а брак, замечу, – одно из ваших таинств. Значит, господа эти обещают не что иное, как то, что никогда не совершат плотского греха в согласии с законом, указанным Богом, но вольны совершать его незаконно, сколько пожелают, – настолько, что могут признавать своими сыновьями детей, появившихся вследствие этого двойного преступления. Детей этих они именуют побочными, или «естественными», – словно те, что рождены в брачном союзе, осененном таинством, не естественны! Итак, обет целомудрия не может быть угоден ни Богу, ни людям, ни тем, кто его блюдет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.